ЖОЗЕФ ДЕЛЬБЕФ

СОН
И СНОВИДЕНИЯ



ЖОЗЕФ ДЕЛЬБЕФ

СОН И СНОВИДЕНИЯ

в их отношении к теории достоверности и памяти

Об этой книге

Жозеф Дельбеф — бельгийский философ и психолог, профессор Льежского университета, известный своими опытами над восприятием и гипнозом. «Сон и сновидения» (1885) — книга о том, чему сон учит нас о достоверности наших знаний и о памяти.

Дельбеф разбирает труды своих предшественников, спрашивает, почему во сне мы безоговорочно верим увиденному и как наяву отличаем сон от действительности, строит теорию памяти как закрепления следов и показывает на множестве собственных снов, что в сновидении не бывает ничего, что не пришло бы когда-то из жизни — даже если мы этого не помним.

Содержание

Предисловие	5
Введение	7
Сон и сновидения в их отношении к теории достоверности	52
Отношение сна и сновидений к теории памяти	93
Сохраняющая память	105
Воспроизводящая память	154
Сновидение	191
Заключение	214

ПРЕДИСЛОВИЕ

✦

В этом труде, как показывает уже его заглавие, я рассматриваю явления сна и сновидений лишь с двух точек зрения: с точки зрения достоверности и с точки зрения памяти.

Это двойное исследование принесло мне двойной итог.

Мне пришлось искать признак обдуманной достоверности, или разумного состояния, — признак, по которому можно отличить существо разумное от неразумного, хотя бы последнее неизменно считало себя разумным, — и я думаю, что нашел его в умозрительном сомнении. Я разумею под этим то вольное и, в сущности, не слишком искреннее сомнение, с помощью которого ум пытается доказать самому себе, что даже самое твердое его убеждение могло бы оказаться ошибочным. Это и есть примета ума, вполне владеющего собой.

Чтобы объяснить память, то есть неизгладимое запечатление следов событий в организованной и чувствующей материи, мне пришлось подвергнуть критике аксиомы о вечной неизменности материи и силы. Это исследование позволило мне открыть начало закрепления силы, а заодно и истинное средоточие энергии, которое заключено не в движении, а в нарушении равновесия.

Наука уже начала принимать это начало, и я убежден, что в конце концов оно в ней утвердится.

Оно плодотворно в приложениях, и совсем недавно я опирался на него в своих этюдах о *косной материи и живой материи*; они печатались в «Философском обозрении» и скоро выйдут отдельной книгой. Я уже показал — а когда-нибудь покажу еще

лучше, — что ему по праву принадлежит место и в вопросе о свободе.

Но довольно распространяться о предмете моей книги. Мне остается лишь поблагодарить г-на Г. Тарда за то, что он любезно сообщил мне записи своих сновидений, которые некогда вел с научной целью. С его разрешения я почерпнул из них кое-что — впрочем, куда меньше, чем почерпнул бы, если бы узнал о них раньше.

ВВЕДЕНИЕ

✦

Критический обзор некоторых сочинений о сне и сновидениях

От улыбчивой Ионии, колыбели печального Гераклита, до туманной Балтики, которая видела рождение мрачного Шопенгауэра, во всяком веке и под всяким небом, если и есть тема, которую сумрачные философы развивали с особой охотой, то это тема человеческих бедствий. Со своей стороны и религиозные писатели, все эти Паскали и Боссюэ, превознося величие человеческой души, никогда не упускают случая показать и ее низость. Казалось бы, к безотрадной картине нашей слабости и нашего ничтожества уже невозможно прибавить ни одной новой черты.

И все же в нее забывают внести целую треть нашего существования. Каждый день нас, так сказать, похищает причудливый, своенравный и капризный дух, которому доставляет лукавое удовольствие смешивать противоположности: добро и зло, порок и добродетель. В известные часы суток самый праведный из людей без угрызений совести совершит самые чудовищные злодеяния: он станет вором, убийцей, кровосмесителем, клятвопреступником; юная и целомудренная супруга предастся самым непристойным делам; стыдливая монахиня произнесет нечистые слова; увлеченный страстью или прихотью, благочестивый служитель алтаря не остановится ни перед каким святотатством.

Когда наваждение кончается и мы снова становимся хозяевами самих себя, мы часто не решились бы рассказать другим, а порой и мысленно перебрать то, что нам снилось. Мы с тревогой спрашиваем себя, не таится ли в глубине нашего существа дурная закваска, которая в любую минуту может толкнуть нас на преступление. Мы проклинаем эту неведомую силу, которая, овладев нашей душой, отнимает у нее лучшее, что в ней есть, и ставит на его место худшее.

Зато столь же часто сон бывает благодетелем и утешителем. Он на несколько мгновений возвращает нас к дорогим существам, которых мы потеряли; больному он дает забыть о страданиях, несчастному — о нужде; он возвращает подвижность расслабленному, слух глухому, зрение слепому, свободу узнику, радости первой любви бедной покинутой девушке. Слишком краткие обманы, которые лишь делают суровую действительность еще горше! Волшебная палочка сновидений превращает самую жалкую лачугу в зачарованный дворец; она развязывает язык заике и вдохновляет его на увлекательное красноречие; она толкает робкого навстречу самым грозным опасностям; она вручает ученому ключ к самым таинственным явлениям; она доходит до того, что дарит нашему тяжелому, прикованному к земле телу чудесные крылья, которые без усилия несут его сквозь беспредельность.

Нужно ли еще что-нибудь, чтобы во все времена сновидениям приписывали сверхъестественную природу? Их считают вестниками божества — вестниками правдивыми или обманчивыми, смотря по тому, благосклонно оно к нам или нет; они таят в себе тайны будущего, и всякий, кто умеет проникнуть в их язык, без труда находит в них обещания или угрозы.

А если, оставив общепринятые мнения, мы обратимся к людям науки, то услышим, как они в самом начале своего спора со старыми верованиями выдвигают поразительную теорию: сновидения вовсе не исходят от богов — напротив, это они создали богов; наш ум, видевший во сне призраков, творящих чудеса, приписал им действительное бытие и наделил их грозным могуществом; так и было населено Небо[1]. Или же, говорили еще, образы ушедших, приходя тревожить нас в ночной тишине, внушили веру в загробную жизнь, и души царей или грозных вождей незаметно возвысились до божественных гениев, держащих в руках судьбу живых. Выходит, что эти бесформенные дети усталости и ночи, которые по пробуждении вызывают у нас пренебрежение или жалость, смех или неприязнь, будто бы дали начало религиям, и что религиозное чувство — а оно, по мнению многих философов, едва ли не единственная отличительная черта, которой человек возвышается над животным, — будто бы не имеет иного источника. Религия — дочь мрака, наука — дочь дня: не довольно ли этой разницы в происхождении, чтобы объяснить их непрестанные столкновения и непримиримую вражду?

[1] Лукреций. «О природе вещей», V, 1168 и сл.

Глава I. Сочинения Сергеева, Бинца, Грота, Модсли и Шпитты

Наше незнание того, что касается сна и сновидений. — Сергеев: орган сна — большой симпатический нерв; во время бодрствования сила накапливается, во время сна ее избыток выводится. — Бинц: сон и сновидения имеют болезненную природу. — Грот: составные части сновидений — привычки, телесные ощущения и бессознательная работа мозга. — Модсли: склонность идей сочетаться в виде драм; условия, определяющие происхождение и

характер сновидений. — Шпитта: в глубоком сне сознание полностью упраздняется, в сновидении упраздняется лишь самосознание; Gemüth, то есть чувство, или сердце, не засыпает никогда; почему сновидение нелогично.

Значение, которое всегда придавали сновидениям, заставляет думать, что их изучением должны были заняться очень рано и что сегодня мы располагаем точными и окончательными сведениями об их природе и причинах. Ничего подобного. В древности об этом предмете, пожалуй, стоит упомянуть лишь несколько мастерских страниц Аристотеля; а что касается нового времени, то Модсли совсем недавно мог написать такие строки: «Изучение сновидений было в пренебрежении, а между тем оно обещало бы быть плодотворным для искусного и знающего наблюдателя, который взялся бы за него последовательно и с методом; в особенности для врачей оно было бы, по всей вероятности, весьма поучительно»[2].

[2] *The Pathology of Mind*, p. 49.

О нынешнем состоянии науки относительно сна я не могу судить с достаточным авторитетом. Ограничусь тем, что приведу по этому поводу слова Фирордта, чья компетентность бесспорна. «Нечего и думать, — говорит он[3], — о том, чтобы дать физиологическую теорию сна. Откуда эта всеобщая необходимость периодического ослабления или частичной остановки физической и психической деятельности? Каковы условия, как телесные, так и психические, и, без сомнения, весьма многочисленные, которые приводят к физиологическому сну и, в свою очередь, во время сна незаметно подготавливают пробуждение? Каковы, наконец, определенные формы, в которых отправления спящего проявляются по

количеству и качеству? Вот вопросы, на которые невозможно ответить».

[3] *Grundriss der Physiologie des Menschen*, 5-е изд. Тюбинген, 1877, с. 653.

Это не значит, что о сне и сновидениях, особенно в последнее время, не вышло много сочинений. Не говоря уже о ставших классическими книгах Альфреда Мори и Альбера Лемуана и ограничиваясь лишь двумя последними годами, назову брошюру Сергея Сергеева[4]; работу Н. Грота, написанную по-русски[5]; трехсотстраничный том Генриха Шпитты, *приват-доцента* Тюбингенского университета[6]; еще более объемистый труд Пауля Радештока[7]; брошюру К. Бинца[8]; другую брошюру — Поля Дюпюи, профессора медицинского факультета в Бордо[9]. Без сомнения, я не исчерпал списка и, быть может, пропускаю лучшие работы. Мне следовало бы еще назвать трактаты по физиологии, патологии и т. д., где сну отведены длинные главы, из которых мог бы составиться отдельный том. Так, Модсли в уже упомянутом сочинении посвящает ему почти сто страниц, а Штрикер, профессор Венского университета, присоединил к своим *Лекциям по общей и экспериментальной патологии*[10] нечто вроде курса психологии, который занимает не менее одиннадцати глав и который, имея целью определение душевных болезней, содержит новые и самостоятельные взгляды на природу сновидений.

[4] *Сон и нервная система: введение к изучению бодрствования и сна*. Женева, 1877.

[5] *Сновидения как предмет научного анализа*. Киев, 1878.

[6] *Die Schlaf- und Traumzustände der menschlichen Seele* etc. Tübingen, 1878.

[7] *Schlaf und Traum, eine physiologisch-psychologische Untersuchung*. Leipzig, 1879.

[8] *Ueber den Traum*. Bonn, 1878.

[9] *Психофизиологический этюд о сне*. Бордо, 1879.

[10] *Vorlesungen über allgemeine und experimentelle Pathologie*. Вена, 1879. Лекции 21–31.

Я не стану долго задерживаться на своеобразном, но не слишком основательном труде Сергеева. Автор начинает с того, что сон есть отправление (?) по существу растительное, ибо он необходим всему живому и имеет целью поддерживать организм в нормальном состоянии. Значит, нужно найти три вещи: 1) пищу — предмет бодрствования и сна; 2) орган; 3) механизм. Пища не обязательно есть вещество осязаемое и весомое; ничто не мешает предположить, что предметом бодрствования и сна служит некая эфирная, стеническая или динамическая форма. Что Сергеев под этим разумеет, я так и не смог понять. Впрочем, мне кажется, что его представления об эфире, движении, силе и материи неясны и противоречивы.

Что касается органа сна, то им, вероятно, должен быть большой симпатический нерв. Ибо, с одной стороны, неизвестно, где находится средоточие этого отправления, а с другой — неизвестно, каково отправление этого аппарата. Вывод не вполне очевиден. Но автор, и вполне справедливо, не довольствуется одним этим логическим доводом. Он напоминает, что перерезка большого симпатического нерва вызывает тепловые явления, которые нельзя приписать изменениям, внесенным таким образом в кровообращение, и объяснение которых еще не найдено. Между тем повышение тепла легко объяснялось бы остановкой растительного и центростремительного движения: во время бодрствования сила накапливалась бы, во время сна ее избыток выводился бы наружу. Это как раз противоположно тому, что обычно думают. Я не физиолог и не могу обсуждать выводы Сергеева. Мне лишь хотелось бы знать — и именно этого я все

ждал как последнего довода, — в какой мере животные, у которых перерезан большой симпатический нерв, теряют сон; например, не спала ли та собака, у которой и через восемнадцать месяцев избыток тепла был еще заметен, все это время почти как обычно.

Попытка Сергеева, хотя я и считаю ее бесплодной, кажется мне пригодной для того, чтобы показать, каким глубоким мраком окружена физиологическая задача. Этот писатель, несомненно, принял свой предмет близко к сердцу; он провел многочисленные изыскания и, обладая изобретательным складом ума, стремился сойти с проторенных дорог. За все это, что бы я ни думал о плодах его усилий, я могу лишь приветствовать его труд.

Брошюры Бинца я не читал. Я видел отчет о ней в *Berliner klinische Wochenschrift*. Бем в *Philosophische Monatshefte* отзывается о ней очень хорошо. Основываясь на том, что опий, гашиш, эфир и т. д. вызывают состояния, сходные со сновидением и сном, Бинц заключает, что эти явления имеют болезненную природу и происходят от расстройства психической деятельности. Мне довольно трудно понять, как можно называть болезненным состоянием и приписывать какому-либо расстройству явление столь всеобщее, столь постоянное и столь благотворное, как естественный сон, сопровождаемый сновидениями или нет. Но я умолкаю, чтобы совсем не исказить мысль Бинца.

Брошюру Дюпюи я прочел. Я нашел в ней любопытное описание некоторых из тех явлений, которым Мори дал имя гипнагогических галлюцинаций, и критику некоторых теорий сна. Эта последняя часть, правда, весьма поверхностна, зато она лишена притязаний.

Ничего не скажу о сочинении Н. Грота. Я знаю лишь его выводы, изложенные в «Философском обозрении»[11] г-ном А. Г. Они достаточно любопытны, чтобы я их привел. «Субъективные

чувственные возбуждения принимаются за действительность из-за отсутствия контроля со стороны чувств и разума. Составными частями сновидений служат главным образом воспоминания, привычки, впечатления, полученные органами чувств, и телесные ощущения, сопровождающие растительный процесс во время сна, — и, кроме того, „бессознательная работа мозга“, или самодействующая работа некоторых частей мозга, менее утомленных или более возбужденных, которые неожиданно доставляют фантастические образы, причудливые сочетания обрывочных представлений, смешанных наугад, словно фигуры в калейдоскопе. Однако между следующими друг за другом идеями всегда есть более или менее явная связь, потому что сон не отменяет законов ассоциации идей и идеи продолжают вызывать друг друга по сходству или по контрасту либо в соответствии со взаимным отношением причины и следствия, цели и средства, — точно так же, как это бывает у душевнобольных, у которых некоторые части мозга навязывают сознанию свою деятельность и так полно им завладевают, что заслоняют объективные чувственные впечатления, способные вернуть психическую работу на верный путь». Этот отрывок, по-моему, очень хорошо выражает нынешнее состояние науки в данном вопросе.

[11] Выпуск за ноябрь 1878 г., с. 544.

Такое же суждение я вынесу и о двух содержательных главах, в которых Модсли занимается сном и гипнотизмом. Отмечу в них довольно странное утверждение[12], будто идеи имеют «естественную склонность располагаться и сочетаться в виде драм, хотя бы между ними и не было известных ассоциаций или даже хотя бы они были совершенно независимы друг от друга, а то и противоположны». Мало того, по его словам, они обладают

«созидательной способностью к построению, благодаря которой идеи не только собираются вместе, но и порождают новые произведения». Это значит обходить слишком уж непринужденно трудности, связанные с драматической и творческой силой сновидения. Но в подобном предмете часто поневоле приходится довольствоваться словами, и сам Модсли не обманывается насчет тех запутанных объяснений, которые он дает удивительным явлениям припоминания, встречающимся в сновидениях. «Какова бы ни была их ценность, — говорит он[13], — это бесспорный факт».

[12] Указ. соч., с. 15 и 16.

[13] Указ. соч., с. 20.

Особенно насыщенная сводка — та, где он перечисляет условия, определяющие происхождение и характер сновидений. Он разделяет их на шесть рубрик: 1) прежний опыт, личный или унаследованный от предков, из которого почти всегда черпаются составные части сновидения; 2) впечатления, полученные тем или иным органом чувств, который остался более или менее бодрствующим; 3) телесные впечатления, берущие начало в состоянии внутренних органов, кровообращения, дыхания или половых органов; 4) мышечное чувство, на которое действует неудобство от положения, в каком лежит спящий; 5) мозговое кровообращение; и 6) состояние нервной системы — хорошо питаемой или истощенной, свежей или притупленной, возбуждаемой бедной или богатой кровью и т. д.

Впрочем, Модсли занимался состояниями сна и сновидения лишь попутно, с точки зрения их сходства с душевным расстройством. Тем не менее он с большой ясностью взгляда затронул многие вопросы, которые они поднимают, и дал почувствовать недостаточность наших знаний в этой области.

Шпитта задался целью доказать, что явления разума, сновидения и галлюцинации связаны многочисленными и тонкими переходами, что они отчасти входят одно в другое и подчиняются одним и тем же психологическим законам. Его сочинение написано с юношеским и поэтическим жаром, и это несколько вредит точности, которой требуют от научного трактата. В ту минуту, когда ждешь вывода, натыкаешься на красочное и пространное описание, которое приятно увлекает, но мало чему учит, — и такие неожиданности повторяются слишком часто. Несмотря на этот милый недостаток, я не хотел бы судить об этой книге так строго, как это делает Бем в упомянутом журнале. В ней есть эрудиция, тонкие разборы, остроумные замечания.

По Шпитте, глубокий сон отличается полным исчезновением сознания. Когда мы видим сны или находимся в сомнамбулическом состоянии, у нас есть сознание, но нет самосознания, которое составляет принадлежность бодрствования. Этим признаком, к сожалению, слишком растяжимым, он и пользуется, чтобы показать, почему сновидения обычно причудливы и бессвязны, почему они не вызывают удивления у спящего, почему, будучи преступными, они не сопровождаются ни стыдом, ни раскаянием. Отсутствием самосознания он объясняет уверенность и ловкость лунатика, разгуливающего по крышам, явления экстаза и раздвоение личности, из-за которого мы во сне, например, приписываем другим собственные мысли.

Есть и другой *deus ex machina*, играющий в книге Шпитты столь же важную роль. Это *Gemüth* — слово, трудно передаваемое по-французски, но которое в данном случае можно довольно сносно перевести как *чувство*, или *сердце*.

Сердце никогда не спит. Сердце — злейший враг сна, и когда оно вмешивается, покою больше нет места. Пока сердце не затронуто, ни шум, ни свет, ни деятельность, ни замыслы не мешают сну. Но если оно взволновано, как, например, когда нас занимает мысль, что нужно встать в определенный час, сон бывает чутким и любой пустяк его прерывает. Мать, глухая ко всем прочим звукам, просыпается от малейшего движения своего ребенка. Запоминаются те сновидения, которые сильно затронули наше чувство. Забота, нечистая совесть не дают нам уснуть; так велико превосходство *Gemüth* над разумом, который хотел бы, но тщетно, призвать сон.

Сновидение «есть невольная и сознательная проекция вовне ряда представлений души во время сна, проекция, благодаря которой они принимают для спящего вид объективной действительности». Последовательность и сцепление образов в нем подчиняются законам ассоциации и воспроизведения идей, но не закону причинности[14]: сновидение нелогично. Что же до вопроса, поставленного Декартом: по какому признаку можно отличить состояние бодрствования от состояния сновидения? — то Шпитта объявляет его «мнимым и гипотетическим»[15]. Пожалуй, сочтут, что это не совсем ответ.

[14] С. 111 и след.

[15] С. 112.

В бодрствовании наш мир есть также мир других людей; во сне он принадлежит только нам; центростремительная деятельность останавливается; образование идей часто прерывается, и так как нет самосознания, чтобы им руководить, а переработка внешних впечатлений разумом, естественно, несовершенна, если не вовсе отсутствует, то нетрудно понять, почему сновидения темны,

беспорядочны и бессвязны. Удивительно даже, что у нас бывают порой логичные сны. Они, должно быть, свойственны тем умам, у которых вошло в привычку всегда связывать свои мысли логически[16].

[16] С. 110 и след.

Глава II. Сочинение Радештока

Две формы воспроизведения: воспоминание и галлюцинация; между ними лишь разница в степени. Критика. — Определение сновидения: это продолжение деятельности души во время сна. Критика. — Причины сна: физиологическое объяснение еще предстоит найти; во сне нет простого сознания, но упраздняется самосознание. Критика понятия сознания: сознание не-я. — Составные части сновидения. — Различия между сновидением и мыслью наяву: 1) сновидение подвижно и изменчиво; 2) сновидение живо и преувеличено; 3) сновидение не подчинено воле; 4) сновидение создает новые сочетания. — Раздвоение «я»; объяснение этого явления. Критика: раздвоение есть, в сущности, растроение «я». — Иллюзия сновидения; объяснение. Критика. — Сновидение, безумие, грезы наяву: «Никто не мог бы точно сказать, где кончается разум и где начинается неразумие». Критика.

Сочинение Радештока, появившееся вскоре после книги Шпитты, задумано в том же духе; но автор больше настаивает на физиологической стороне вопроса и отводит много страниц тому, чтобы показать значение сновидений для психологии различных народов. Эта книга, посвященная профессору Вундту, интересна, полна фактов, написана методично и ясно, легко читается; но и в ней немало отступлений, не идущих к делу.

Она состоит из десяти глав. Первая говорит о влиянии сна и сновидений как на отдельных людей, так и на народы. В ней

собраны различные мнения о сновидениях, высказанные древними и новыми авторами. Сновидения составляют «важнейший фактор в вере в бессмертие души», и их роль в политической истории отнюдь не следует недооценивать: достаточно вспомнить оракулы Дельф, видения Мухаммада, видения Жанны д'Арк.

В следующей главе Радешток приводит многочисленные определения сновидений, которые давали поэты и философы всех веков; затем излагает свои взгляды на природу союза души и тела, которые суть лишь «два различных облика одного и того же существа», и выводит отсюда, что при изучении сна и сновидений нельзя ограничиваться одними психическими явлениями, пренебрегая телесными.

Третья глава посвящена «нормальной и ненормальной воспроизводящей способности». Все в природе изменяется, душа так же, как и тело. Но прошлое связано с настоящим памятью. Воспроизведение может принимать две формы: смотря по тому, менее ли ярок или так же ярок возобновленный образ, как первоначальный, возникает воспоминание или галлюцинация (иллюзия). Корень воспроизведения — в ассоциации идей, законы которой хорошо известны: закон сходства, контраста, сосуществования и последовательности. Следуя в этом примеру большинства психологов, Радешток не доискивается последнего начала этих законов. Идеи не только следуют одна за другой; порой они соединяются и срастаются между собой, подобно тому как переплетаются ощущения. Так образ топора, вызывая образы дров и плотника и соединяясь с ними, дает составной образ человека, занятого колкой дров. Разница между воспоминанием и галлюцинацией зависит от силы возбуждения; от одного к другому есть все мыслимые переходы. Галлюцинация есть

воспроизведение, яркость которого сравнима с яркостью действительности. Главным фактором иллюзии, стало быть, неизбежно является повышенная возбудимость центральной нервной системы.

Замечу мимоходом, что это объяснение — вовсе не объяснение, а чистая гипотеза. Неизвестное не может служить для прояснения темного. Прибавлю, что вывод не следует строго из посылок: иллюзия могла бы происходить и от ослабления периферической нервной системы. Что же касается определения галлюцинации, то в нем есть верная сторона, но оно, несомненно, неполно. Пример, который приводит автор в подтверждение своего положения, как раз и показывает эту недостаточность. Бриер де Буамон рассказывает о живописце, который умел написать похожий портрет человека, виденного им всего один раз. Число раз, впрочем, мало что значит. Я спрашиваю: находится ли во власти галлюцинации художник, который по памяти видит отсутствующего человека так живо, что может точно воспроизвести его черты? Очевидно, нет. Нужно еще кое-что: нужно, чтобы человек стал игрушкой иллюзии и приписал предмету, целиком находящемуся в нем самом, внешнее и наличное бытие, даже тогда, когда разум говорит ему, что он заблуждается.

Так Радешток приходит к беглому обзору различных возбудителей нервной системы: дурмана, белладонны, гашиша и т. д., затем голодания и изменений органов чувств. В этом трудном предмете слова неизбежно довольно часто занимают место идей, и нервы и клетки, головной и спинной мозг — в той мере, в какой мы их знаем, — привлекаются больше, чем следует. Несмотря на это замечание, я охотно признаю, что вся эта часть его книги содержит трезвые и содержательные сводки.

Вот мы наконец и дошли до определения сновидения: *это продолжение деятельности души во время сна*.

Аристотель сказал: «Сновидение — это, собственно, образ, порожденный чувственными впечатлениями, когда мы находимся во сне, и поскольку мы спим»[17]. Это определение бесконечно предпочтительнее, и скажу больше: его еще никто не превзошел. Слабо слышать сквозь сон пение петуха — это еще не значит видеть сон, говорит Стагирит, ибо такое слышание есть дело бодрствующей души, а не души спящей. Совершенно верно. Значит, не всякая деятельность души во время сна непременно есть сновидение; я не вижу сна, когда под утро, еще спя, смутно слышу шум в доме или на улице; но я вижу сон, если мне кажется, что я присутствую при разговоре, которого на самом деле нет. Отсюда следует, что определение сновидения подчинено определению сна. Я еще вернусь к этому важному вопросу (см. ниже).

---

[17] «О сновидениях», гл. III. См. перевод Бартелеми Сент-Илера, «Психология», с. 202.

Именно о сне, его причинах и особенностях и говорится в следующей главе. По поводу причин, которые ему благоприятствуют или его вызывают, — таких как покой, положение тела и т. д., — Радешток приводит опыты, опровергающие теорию Прейера. Этот ученый утверждал, что сон вызывается присутствием в организме вещества усталости, сходного с молочной кислотой и возникающего от утомления. Поэтому он изучил действие этого последнего вещества, введенного под кожу или в желудок, и полагал, что установил: оно вызывает сонливость. По словам Лотара Мейера, эти действия наблюдаются далеко не всегда.

Что касается физиологического объяснения сна, то автор утверждает, что его не существует, и не пытается его дать. Он ограничится изложением физиологических действий сна. Они достаточно известны, чтобы я мог о них умолчать.

Психологические же его действия вызывают куда больше споров. Одни авторы утверждают, что во время сна сознание упраздняется, другие — что оно сохраняется. У знаменитого Фехнера на этот счет совершенно своеобразное мнение. По его словам, в момент засыпания сознание достигает своей нулевой точки, а когда мы спим, принимает отрицательное значение. Я уже достаточно критиковал в другом месте[18] *отрицательные ощущения*, как их определил отец психофизики, чтобы не настаивать здесь на еще более странном понятии отрицательного сознания. Чтобы решить вопрос, Радешток, как и Шпитта, отличает самосознание от простого сознания. Первое упраздняется, второе нет; ибо всякое представление непременно сознательно, иначе это лишь простое *расположение* (Вундт).

[18] См. мое «Критическое исследование психофизического закона», с. 105 и след.

Что до меня, я так и не сумел составить себе ясного понятия о том, что разумеют под самосознанием в противоположность простому сознанию. Гораздо понятнее было бы мне выражение *сознание не-я*. Так я назвал бы способность, необходимую всякому чувствующему существу, в силу которой оно приписывает причину своих состояний чему-то вне себя. Тогда среди явлений, происходящих в нас, можно было бы различать те, которых мы не сознаем, те, которые мы сознаем, и те, что сопровождаются сознанием внешнего. Но сейчас не время останавливаться на основании этого различения.

Полной противоположности между бодрствованием и сном нет. Во сне психическая деятельность замедлена, но не уничтожена. В самом деле, как бы ярки ни были образы наших сновидений, они тусклее и темнее образов бодрствования. Поэтому можно сделать такой вывод: в глубоком сне, подобно тому как угнетены органические и растительные отправления, психическая деятельность сведена к минимуму, но при этом не прекращается полностью.

Пятая глава книги Радештока посвящена *составным частям сновидения*. Это одна из лучших и самых полных глав. Автор рассматривает в ней действие чувственных и телесных впечатлений и превращения, которым они подвергаются в сновидениях, а также роль, которую играет в них память. Однако, поскольку я не нахожу в ней ни одной по-настоящему новой мысли, разбор той части книги Модсли, где трактуется тот же предмет, избавляет меня от необходимости задерживаться на ней дольше. А между тем в этом направлении можно было бы провести немало любопытных исследований. Несомненно, многие наши сновидения — лишь драматизация впечатлений, испытанных во сне. Так, люди, у которых случайно или постоянно бывает затруднено дыхание, видят во сне узкие коридоры или обрушившиеся потолки, склепы или катакомбы, давку в толпе или оглобли телег, вонзившиеся в грудь, — словом, всякие сцены, где задыхаются и не хватает воздуха. Связь здесь очевидна. Если бы продолжать такие сопоставления, то, по всей вероятности, можно было бы прийти к физиологической классификации сновидений, а заодно и к классификации действительных драм с точки зрения их действия на наш организм через посредство ума[19].

[19] Не то чтобы не пытались составлять классификации сновидений; но они либо произвольны в подробностях, либо опираются на различия чувств или словоупотребления (сны приятные или неприятные, сны исторические, пророческие и т. д.).

Следующая глава ставит целью определить различие между сновидением и мыслью наяву. Это, как я уже говорил, вопрос величайшей важности, и он должен бы быть одной из осей всякой теории сновидений и сна. Радешток разбирает его со свойственными ему эрудицией и тонкостью. Хотя задачу, по-видимому, можно было бы взять еще плотнее, страницы, где он ее обсуждает, почти все превосходны, полны верных, если и не глубоких, замечаний и составляют весьма удовлетворительное и стройное целое. Признаюсь, мне редко доводилось читать что-либо с большим удовольствием. Прибавим, что мысль здесь всегда ясна, прозрачна и выражена простым, легким и естественным слогом.

Сновидение подвижно и изменчиво. Нет ничего обычнее, чем увидеть в нем, как кошка превращается в девушку, а дерево — в церковь. И все же — хочу сказать это сразу — у меня есть сомнения насчет этих мнимых перемен. Я спрашиваю себя, настоящие ли это превращения. Рассказывая подобные сны, вы никогда не говорите, что кошка превратилась в девушку, а дерево — в церковь; вы выражаетесь иначе, например: «Я играл с кошкой, но через мгновение это была уже не кошка, а девушка». Или так: «Сначала я был под деревом, но, сам не знаю как, оказался потом посреди церкви». По-моему же, вам сначала приснилась кошка, потом девушка, и это ваш ум — либо во сне, либо чаще всего при пробуждении, — чтобы объяснить себе непрерывность некоторых других частей сновидения, предполагает превращение, которого вы прямо не наблюдали. На

деле здесь была бы простая замена одного образа другим, без внутренней и постепенной перемены. Но пока довольно и этих нескольких слов.

Сновидение полно живости и преувеличения, продолжает Радешток. Откуда это может происходить, если не от перемены в кровообращении, которая повышает раздражимость центральной нервной системы? Опять гипотеза вместо объяснения. Автор, однако, добавляет, что чувства, испытанные во сне, никогда не достигают силы тех, что волнуют нас наяву. Умирают от радости или от страха; но нет примеров, чтобы сновидения причинили смерть[20]. Помимо того, что такой факт, если бы он и случился, было бы нелегко проверить, я думаю, что это ограничение вернее было бы отнести к самим образам сновидения, яркость которых, по-моему, совершенно относительна.

[20] Однако я слышал, что одной молодой особе, которую знали в моей семье, однажды ночью приснился столь ужасный сон, что ее волосы из черных разом стали совсем белыми. А отсюда уже не так далеко до потрясений настолько сильных, что они влекут за собою смерть.

Сновидение развертывается без всякого участия воли. Верное в общем, это положение, быть может, слишком безусловно. Однажды утром мне снился один из моих друзей, давно женатый, но только гражданским браком. Не знаю, по какой причине, отступив от своих убеждений, он счел наконец нужным — это мой сон — освятить свой союз в церкви. По этому случаю должно было состояться шествие. Новость взбудоражила всю общину. Любопытный не меньше других, я отправляюсь в церковь; мне особенно хотелось посмотреть на лицо мужа. Я пробиваюсь сквозь толпу и ухитряюсь протиснуться в первый ряд. Однако шествие все не появлялось. Пока я ждал, я думал о тысяче вещей, чтобы убить время. Нетерпение меня одолевало; я ясно ощущал, что вот-

вот проснусь; я слышал утренние звуки в доме; но, желая во что бы то ни стало увидеть, как пройдет это необычное шествие, я силился снова заснуть и досмотреть свой сон как сон. Усилия мои не удались. Я проснулся, совсем против воли, так и не удовлетворив своего любопытства.

Этот сон, по-моему, подтверждает то, что я сказал выше. Самосознание есть явное чувство действительности как таковой; так что во сне всегда оставалась бы доля самосознания, как бы слаба она ни была, ибо не следует думать, что мы когда-нибудь бываем совершенно отрезаны от действительности.

Сновидение создает новые сочетания; но его произведения редко чего-нибудь стоят. Почти всегда его выдумки бессмысленны, как выдумки душевнобольного. Стало быть, во сне ослабевает способность суждения и рассуждения. Нам кажется вполне естественным, что гусары проводят учения на коньке крыши или что мы переходим Альпы вслед за Ганнибалом. Эти странности, по Радештоку, основаны на самопроизвольных ассоциациях и уподоблениях, где наибольшая доля принадлежит закону сходства, а также связи, соединяющей некоторые телесные впечатления с идеями, которые они обычно пробуждают.

Часто в сновидениях проявляется также явление, известное под именем разделения или *раздвоения «я»*: мы приписываем другому собственные мысли и чувства. К уже известным примерам я хочу присоединить два других, во всех отношениях исключительно полных.

Однажды вечером в кругу друзей, среди прочих тем, я завел речь об этом раздвоении личности. Я рассказал любопытный случай ван Гунса: школьником, честолюбиво желая всегда оставаться первым в классе, он увидел однажды во сне, что учитель задал ему перевести латинскую фразу. Ван Гунс никак не

мог с ней сладить; но больше всего его мучило то, что один из товарищей делал знаки, показывая, что понял смысл. Учителю пришлось в конце концов вызвать этого ученика, который перевел отрывок без ошибки и таким образом завоевал первое место. Выходит, что спящий был одновременно неспособен и способен истолковать данный текст. Этот сон вызвал кое-какие толки; потом заговорили о другом.

Наша беседа происходила в то время, когда все живо интересовались угрозами, которые с некоторых пор подавала Этна и которые позднее сбылись. И вот в ту же ночь во сне мой друг профессор Спринг — мастер на хитроумные сны — задумал найти способ предсказывать извержения за несколько дней. Ведь уже сегодня можно в известной мере предсказывать бури и описывать их вероятный путь — отчего бы не попытаться сделать то же для вулканических явлений? Само сопоставление было неплохим. Но сколько Спринг ни ломал голову, ничего не выходило. Тогда ему приходит мысль посоветоваться об этом с одним знакомым ученым — с каким именно, он уже не помнит. Он идет к нему, застает его дома и поверяет ему свое затруднение. Друг тотчас схватывает мысль и мгновенно дает искомое решение. Нужно лишь воткнуть в землю на некотором расстоянии друг от друга термоэлектрические иглы, соединенные между собой и с центральной станцией, и тогда можно будет узнать о приближении потоков лавы. Спринг весьма одобрил изобретение и вернулся домой, восхищенный находчивостью своего друга-ученого.

Это тот же случай, что и у ван Гунса: незнающий создает во сне ученого, который знает то, чего не знает он сам.

Вот как Радешток объясняет эту странность.

По его мнению, она происходит от ослабления одной из составных частей понятия «я». Самосознание включает в себя соединение и отнесение к одному и тому же субъекту известного числа идей, чувств, волевых актов и воспоминаний, а кроме того — внимание и деятельную апперцепцию. Во сне же этот последний фактор упраздняется, и остается лишь первый. Тогда человек ощущает свое «я» лишь в ограниченной мере, он больше не считает себя единственным носителем своих идей и относит часть их к посторонним существам.

Это, как мне кажется, скорее описание, чем объяснение факта. Сам я склонен видеть в нем попросту драматизацию той привычки мысли, которая проявляется в форме диалога. Сейчас, когда я пишу, я беседую с воображаемым читателем и приписываю ему возражения и сомнения там, где мне кажется, что я выражаюсь неясно, или где я сам сомневаюсь. Но я мог бы с таким же успехом взять на себя его роль и вложить ему в уста ответы и решения. Вот факт, который подтверждает этот взгляд, — скажу больше, придает ему весьма высокую степень вероятности.

Один превосходный горожанин из моих друзей, который интересуется вопросами психологии и любезно сообщает мне иногда свои сны, собирался построить себе дом. Смысля в архитектуре не больше карпа, он тем не менее сам составил план расположения комнат и, подобно г-ну Пенсилю, одному из героев Тепфера, с каждым днем находил все больше удовольствия в том, что был им доволен. Этот план, по-видимому, соединял в себе всевозможные качества, которые трудно совместить: он был своеобразен и разумен, удобен и красив; словом, это был шедевр. Автор этого восьмого чуда света в любой час дня прогуливался по своим будущим покоям, одобряя их сочетания, хваля их

расположение, восторгаясь их устройством. Одним из любимых его развлечений было воображать, будто он показывает это жилище гостям, способным почувствовать истинную красоту, и он важничал, принимая похвалы, которые на каждом шагу непременно вызывали у них столь глубоко продуманные удобства этого несравненного здания. Его простодушное тщеславие сочиняло на эту тему бесконечные вариации.

Однажды, удобно расположившись в кресле, он начал разыгрывать в голове маленькую драму. Превратности судьбы вынуждали его продать этот дом — который, заметьте, еще и не поднялся из земли. Являлся покупатель, и вот он водил его с этажа на этаж до самого чердака, а потом спускался с ним в подвал, не избавив его от осмотра ни одного уголка своих владений. Как и все, кому прежде выпадала честь быть допущенным в это святилище, покупатель был в восхищении и на каждом повороте не мог удержаться от знаков безоговорочного одобрения. С этими приятными мыслями мой друг погружается в сон, и вдруг роли меняются местами. Теперь уже он стоит перед владельцем, вынужденным сдать или продать дом, теперь он сам очарован бесчисленными удобствами этого искусно задуманного жилища, идет от неожиданности к неожиданности и переходит от удивления к восхищению, от восхищения к восторгу. И нельзя забыть еще одну, последнюю подробность. Наш горожанин, превратившись в посетителя, совершенно не знал дома, который ему показывали, и тем не менее это был тот самый дом, план которого он составил и достоинства которого ему объяснял другой.

Это наблюдение показательно и проливает самый яркий свет на так называемое раздвоение «я». Попробуем же проникнуть до самого корня этого проявления. Поставлю себя на минуту на

место моего друга и постараюсь разобрать, что будет происходить во мне наяву.

Я хожу взад и вперед по задуманному дому; но то «я», которое восхищается, очевидно, не есть «я» действительное, которое в эту минуту живет в доме из камня и кирпича и сидит на стуле у своего очага. Это странствующее «я» есть раздвоение «я» оседлого, которое всюду следит за ним глазами в его прогулке и становится свидетелем его восторгов. Я вижу себя шагающим по комнатам, поднимающимся и спускающимся по лестницам, открывающим двери и шкафы. В сущности, я веду *alter ego*, другого себя самого, по будущему зданию, как повел бы по нему постороннего.

Более того, если вглядеться в дело еще пристальнее, то это вымышленное существо, это смутное и неопределенное существо, которое мое воображение заставляет обходить идеальный дом, я могу с тем же успехом сделать посторонним. Но какой бы облик мне ни вздумалось ему придать, по существу это истечение моего «я», это в действительности я сам.

Больше того: может произойти *растроение* «я». Второе истечение «я» может сопровождать постороннего во время осмотра, и вот дом населен двумя существами. Продолжая таким образом, я мог бы ввести туда сколько угодно лиц. Постороннего, например, мог бы сопровождать друг, которому тот сообщал бы свои впечатления; я присутствовал бы при их беседе и мог бы без труда вообразить еще и такие осложнения: они говорят на иностранном языке, которого, как они полагают, я не знаю, но который мне так же хорошо знаком, как и им самим. Для простоты остановимся на растроении. Из двух лиц, которых я поместил в дом, одно носит имя «я», другое — «не-я». Последнее будто бы еще ничего не видело, первое ему все показывает. Так есть ли среди этих двух такое, которое было бы преимущественно истинным

«я»? Очевидно, оба они — «я», одно в той же мере, что и другое. Значит, из двух истечений «я» одно может знать, а другое не знать одну и ту же вещь. В этом нет никакой тайны, кроме той вечной тайны, которая окутывает все явления души.

Нужно ли мне теперь возвращаться ко сну? Кто не видит, что во сне всегда происходит раздвоение «я», поскольку действительное «я» «спит совсем раздетое в своей постели», а «я» сновидения — другое, бодрствующее, одетое, говорящее и жестикулирующее? А что касается явления, названного раздвоением, то оно в конечном счете есть растроение «я». Но так как два «я» не могут стоять друг против друга, одно из двух вымышленных «я» непременно *альтруизируется*, если позволено выковать такое слово. Покупатель и владелец были одним и тем же «я». В обычной жизни «я», без сомнения, — владелец; но в жизни воображения нет ничего странного в том, что им оказывается покупатель.

Такая альтруизация — одно из самых обычных действий, и она может быть более или менее полной. Когда я вспоминаю свое детство, я альтруизирую себя в ребенка; когда вспоминаю свое тогдашнее незнание — в незнающего. И знаете что — ибо всякий психолог обязан признаваться даже в своих слабостях, если думает этим пролить свет на какую-нибудь темную задачу, — я сейчас опять себя альтруизировал: добрый горожанин — это я.

Со мной, как и со всеми, случается, особенно вечером, заснуть за чтением. Я много раз замечал, что в момент перехода от бодрствования ко сну читатель во мне уступает место лектору и мне представляется, будто я излагаю содержание книги перед более или менее многочисленной аудиторией. Вскоре я вплетаю туда собственные мысли, а под конец — бессмыслицу. Вот явление, обратное альтруизации.

Впрочем, какую, собственно, роль играет читатель, когда читает? Слышит ли он, что с ним говорит автор, или сам читает вслух для другого? Эту довольно любопытную маленькую задачу я часто пытался прояснить, но безуспешно.

На протяжении всей этой шестой главы Радешток указывает нам так, одну за другой, особенности, отличающие сновидения от объективных идей. Он говорит, например, о понятии причинности в сновидении, о безнравственности сновидения и по этому поводу рассматривает, в какой мере человек может быть признан ответственным за то, что делает во сне. Он отмечает, как обычно — кроме как у детей — мимолетны сновидения и как плохо они удерживаются в памяти.

После этого он на двух страницах говорит об *иллюзии*, игрушкой которой делают нас сновидения.

В этом отношении сновидения и в самом деле отличаются от других произведений воображения, призрачность которых каждый без труда замечает. А это, по-моему, еще один главный, существенный, основополагающий вопрос всякой теории сновидения, и автор проходит мимо него слишком легко. Не то чтобы он, как всегда, не говорил превосходных вещей, но он не рассеивает всех моих сомнений. Предоставлю ему слово.

Помимо способности *понимания*, у сознания есть и другая, не менее важная способность — *различения*. Человек отделяет свои представления одни от других; в совокупности своей психической деятельности он различает устойчивые группы и отдельные, изменчивые впечатления; он распределяет и упорядочивает свои идеи с известных точек зрения по определенным кругам, куда помещает лишь сходное и откуда удаляет несходное. Он умеет также отличать более слабые образы воспоминания от более сильных наличных ощущений, а среди этих последних — те, что

доставляет ему собственный организм, от тех, что приходят к нему извне. Так он научается противопоставлять собственное тело внешним вещам, которые на него действуют, а собственное «я», как сумму телесных впечатлений и психической деятельности, — другим существам, за которыми он признает независимую действительность, подобную своей. Благодаря этому он знает, в состоянии бодрствования и здоровья, что воспоминание — нечто иное, чем непосредственное созерцание, и что *в большинстве случаев* он может отличить произведение своего воображения от существующей вещи, хотя и не всегда может ясно судить, что в каждом представлении собственно объективно и что собственно субъективно.

Но в сновидении или в бреду дело обстоит иначе. Здесь, продолжает автор, повышение центральной нервной деятельности (не правда ли, жаль, когда *слова* занимают место настоящего объяснения?) придает произведениям фантазии живость, которая обычно свойственна лишь непосредственным впечатлениям и которая упраздняет деятельность души. Мы принимаем за истину все, что предлагает нам воображение, прошлое снова становится настоящим, мы принимаем свои надежды и желания за факты, совершенно невозможных чудовищ — за действительность. Порой то же самое случается с нами и тогда, когда, не спя, мы позволяем себе стать добровольными жертвами обманов своего воображения. Но такие случаи редки, «потому что припоминания не обладают в полной мере силой непосредственных впечатлений и потому что мы обладаем способностью ориентироваться по действительному миру». Во сне же, напротив, мы получаем извне лишь ослабленные впечатления, ибо, стоит им хоть немного усилиться, они привели бы к пробуждению; они не способны побудить сознание к ответу,

и спящий, не получая вестей о мире, в котором живет, строит себе другой — из собственных идей. Отсюда изречение Гераклита, уже приводившееся выше: во сне у каждого свой мир, тогда как наяву один и тот же мир общий для всех. Лишь под утро, с приближением пробуждения, мы снова становимся восприимчивы к внешним вещам, высшие способности ума вновь приходят в движение, и иллюзия рассеивается.

Я привел этот отрывок почти целиком. Как видим, это сказано очень хорошо; иные даже подумают, что тут нечего добавить; и мне самому фраза, которую я заключил в кавычки, кажется содержащей начало решения. И все же я настаиваю. Вот я сижу за столом, покрытым бумагами, и пишу эти строки, которые у читателя перед глазами. Я не думаю, что все это мне снится; но, как говорит Декарт, мне порой снилось нечто подобное, и я при этом говорил себе посреди сна, что не сплю. Совсем недавно мне снится чрезвычайно сложный, довольно стройный и очень интересный сон. Потом мне вдруг приходит в голову, что его стоит записать, и, все еще во сне, я тщательно заношу его на листок черновой бумаги. Не снится ли мне и сейчас, что я пишу это на обыкновенной бумаге?

Мне скажут, что я могу ориентироваться по внешнему миру, и это верно: светит солнце, освежающий ветерок играет в листве, раскинувшейся перед моим окном; вдали я слышу стук экипажей и дудку ребенка, которая режет мне уши, — но разве все это не может быть частью моего сна? Разве сам Радешток не говорит — и я выделил эти слова, — что *в большинстве случаев* можно отличить вымыслы от действительных образов? Значит, есть случаи, когда этого сделать нельзя. Не нахожусь ли я в одном из таких случаев? И если подобное случается хотя бы раз, то как мне удостовериться, что оно не случается всегда? В примечании,

которому следовало бы стоять в тексте, Радешток говорит о польском студенте, с которым познакомился в одном научном обществе. Этот студент был лунатиком, и теперь ему часто случается во сне сознавать, что все, что ему снится, неправда, и тем не менее ложные образы не уходят. Я знавал душевнобольных, с которыми было то же самое. Как это возможно? Что же такое сознание действительности?

Повторяю, можно в известной мере считать, что Радешток сказал все, что следовало сказать, но в этом особом вопросе я желал бы разбора более подробного, более сильного и более глубокого.

Тот же недостаток глубины я замечаю и в девятой главе. Ничего не говорю о седьмой и восьмой главах, где речь идет главным образом о сомнамбулизме и о разнообразии сновидений, потому что это увело бы меня слишком далеко. В девятой главе автор сравнивает безумие и сновидение. «Безумие — это сон наяву», — сказал Кант. Автор почти только комментирует это определение; он отдается своей склонности к описаниям, которые ему, как правило, хорошо удаются; к несчастью, он употребляет много образов, метафор и сравнений, у которых есть свое очарование, но которым недостает основательности. Сравнение должно прояснять и подкреплять объяснение, а не становиться на его место. А Радешток, переходя от сравнений к описаниям и от описаний к сравнениям и показывая мне столько сходств и аналогий, так запутал и перемешал вещи, что я уже не знаю, в чем разница между спящим, который видит сон, и душевнобольным. А между тем никто в этом не ошибается: душевнобольной — не спящий и не лунатик.

Та же неточность обнаруживается и в последней главе, которая говорит о мечтательности и грезах наяву.

Заключение своего труда автор формулирует так: «Через многочисленные, но непрерывные и неделимые ступени бодрствующее сознание переходит в сознание сна и сновидения, и между здоровьем и болезнью души нет никакой резкой границы, а существует обширная промежуточная область расстройств и нарушений. Никто не мог бы точно сказать, где кончается разум и где начинается неразумие».

Прекрасно; но все мое существо восстает против этого вывода, который все смешивает и в конечном счете упраздняет разум и изгоняет его из мира. Из того, что между двумя противоположными состояниями есть промежуточные, не следует, что одно из них есть другое. Между кривой и прямой линией есть все возможные переходы, но прямая линия только одна; между 0 и 1 есть все мыслимые значения, но ни одно из них не есть ни нуль, ни единица.

Глава III. Сочинение Штрикера

Знание потенциальное и знание живое, или актуальное. — Способность проекции, или вынесения вовне: иллюзорный образ всегда исключительно личен. — Различия между сновидением и галлюцинацией; иллюзия возникает, когда мозговое возбуждение, порождающее образ, распространяется до периферических нервов. — О происхождении идеи движения. — Об истинности наших суждений: «Всякое суждение a posteriori о внешнем мире, которое считается истинным наподобие суждения a priori, должно рассматриваться как заблуждение». Нет признака достоверности для суждений о внутреннем опыте. — Происхождение неразумных идей: разрыв связей между господствующими идеями и частью потенциального знания. — Сновидения обусловлены возбудимостью мозга во время сна, причем внешние возбуждения вплетаются в воспоминания; они создают иллюзию потому, что

внутреннее возбуждение распространяется до периферических нервов, а внешние возбуждения вызывают лишь идеи, подходящие к сновидениям. — Точно так же и безумие происходит от отсутствия связи между навязчивыми идеями и восприятиями. — Критика: иллюзия может возникать и тогда, когда периферические органы разрушены. — Критика априорного характера суждений душевнобольных: субъективная достоверность неизбежно сопровождает наши утверждения, наши отрицания и наши сомнения. — Научная достоверность совместима с сомнением.

Насколько мне известно, Штрикер до сих пор не выпустил ни одного сочинения по психологии, и даже главы, которыми заканчиваются его «Лекции по патологии», покажутся иным специалистам чистым отступлением от предмета. Но можно лишь радоваться тому, что в данном случае ученый профессор навлек на себя упрек в нарушении правила единства предмета. Редко мне доводилось читать страницы более живые, более ясные, более самобытные о предметах отчасти избитых. Штрикер — еврей, как Спиноза, как Траубе. Если я упоминаю об этом, то лишь потому, что пишет он не так, как большинство немецких авторов. Его слог быстр и точен; фраза коротка и остра; мысль ясна и захватывает; проницательность тонка и изобретательна. В своем изложении я буду следовать порядку самих лекций автора.

Различим знание потенциальное и знание живое (актуальное)[21]. В любую минуту своего существования я могу думать лишь о весьма малой части того, что знаю. То, о чем я думаю, — это знание актуальное; остальное принадлежит знанию потенциальному. Актуальное знание присутствует в сознании, если брать это слово в узком и ограниченном смысле. Где находится средоточие сознания? Это вопрос неразрешимый и

отчасти праздный. Достаточно того, что всеми бесспорно признано: отправления души зависят от отправлений мозга. Далее: только ли клетка действует психически? И нервы, соединяющие ганглиозные клетки, действуют ли лишь физически, то есть как простые передаточные аппараты? Это вопрос спорный. Однако, когда глухонемой дергает звонок, а слепой, его спутник, слышит звон, ни тот, ни другой не сможет сказать, что позвонили, в том смысле, какой обычный человек придает этой фразе. Не показывает ли это сравнение со всей наглядностью, что нельзя допустить разобщенность психических центров?

---

[21] *Das lebendige Wissen*. Так говорят «живая сила» о силе, которая производит работу.

Я приписываю другим людям сознание, подобное моему. Это не бессознательное суждение. Это убеждение объясняется просто ассоциацией идей. Когда я вижу предмет мебели в виде шкафа, я предполагаю, что внутри него пустота, хотя никогда сознательно не формулировал суждения, что всякий шкаф полый.

Наши идеи приходят к нам первоначально из опыта, а во вторую очередь — из памяти. Почему мы относим причину своих впечатлений вовне? В силу привычки. Здесь не может быть речи о врожденной способности: если бы человек долгие годы носил картуз, а сняв его, все еще чувствовал его на голове, разве стали бы говорить о врожденной способности?

Органы чувств, как уже доказал И. Мюллер, — лишь передовые посты мозга. «Я», хотя и представлено яснее всего в голове, все же не ограничено оболочкой мозга, оно простирается так же далеко, как чувствительные нервы. Это утверждение доказывается тем, что больные приобретают анатомические познания. Вообразим бассейн, наполненный водой, от которого горизонтально отходят

трубки, оканчивающиеся чашечками курительных трубок, куда поступает вода из бассейна. Если бросать камешки в эти чашечки, волна распространится до самого бассейна, но покажется там заметно ослабленной. Мы увидим волнение на поверхности бассейна и чашечки, но не в соединительной трубке. Таково представление, которое можно составить о мозге, органах чувств и их отношениях.

Мы склонны считать восприятие непосредственным, действительным и объективным, когда на передний план выступает сознание того, что происходит в периферических окончаниях нервов. Эта способность проекции приобреталась мало-помалу; но, однажды приобретя ее, мы с ее помощью выносим вовне причину всякого возбуждения периферических нервных окончаний и связываем с *преобладанием* их явлений мысль, что находимся под действием причины, действующей вне нас, и что воспринимаем внешнюю вещь. Но мы часто ошибаемся. Сновидения каждый день доставляют нам тому доказательство. Где же признак законности этого суждения о внешнем? Это мы увидим дальше. А пока заметим, что иллюзорный образ по своей природе исключительно личен, тогда как объективный образ может быть общим для многих. Вот первый признак, чисто практический.

Нормальные образы воспоминания — не более чем воспроизведение чувственных впечатлений. Другие — например, образ Венеры Милосской верхом на коне — «фантастичны»: в них содержится больше, чем было действительно воспринято. Таковы фигуры сновидений.

Идеи, которые возникают у нас одновременно, связываются между собой. Из этих связей одни разделимы, другие нет. Я могу

отделить образ зрительного зала от образа его зрителей, но не могу отвлечь от него идею места или протяженности.

Поговорим теперь об обманах чувств. Есть разница между галлюцинациями — например, теми, что бывают в момент засыпания, — и сновидениями. В сновидениях, во-первых, меняется обстановка: я нахожусь в вымышленном месте, ничего не знаю о том, что меня окружает, а если и получаю оттуда какое-нибудь впечатление, то заставляю его служить моему вымыслу и вплетаю в сновидение. Во-вторых, в сновидении не все иллюзия. Если мне снятся разбойники и меня охватывает страх, то мой страх действителен и логичен, а порой и переживает пробуждение. Наконец, в сновидениях идеи сцепляются иначе, чем в бодрствовании. При галлюцинации, напротив, внимание мое ослабевает с самого начала: я не могу легко установить момент, когда на сцену выходят обманчивые образы; тем не менее я сохраняю ориентировку, и когда галлюцинация прекращается, я знаю, что видел эти образы, но знаю и то, что видел их с того места, где нахожусь. Кроме того, здесь не наблюдаешь себя самого, не принимаешь никакого участия в игре актеров, не испытываешь ни радости, ни страха, ни гнева; остаешься в полном безразличии. Наконец, не думаешь, не стараешься связывать свои идеи — ты словно видящая машина.

Вымышленные образы — это припоминания; но одного воспоминания недостаточно, чтобы объяснить иллюзию, ибо в действительность верят лишь тогда, когда затронуты окончания нервов. Так, если я посмотрю на солнце, то буду видеть его еще несколько мгновений после того, как закрою глаза, и буду видеть его вне себя, пока этот образ держится; но как только он сотрется, то, если я вспомню и действительный образ, и последовательный, ни тот, ни другой уже не окажутся вне меня. Через десять или

двадцать лет после потери зрения человеку еще снятся формы и цвета; но мало-помалу берут верх идеи, относящиеся к слуху и осязанию, пока наконец, с течением времени, зрительные сны не перестают появляться вовсе. Значит, без периферических нервов и их отправлений иллюзия невозможна.

Согласно гипотезе Лацаруса и Хагена, когда в мозгу рождаются образы, периферические нервы, если они находятся в подходящем состоянии, участвуют в возбуждении. С этим-то участием и связано сновидение. Даже в обычных воспоминаниях всегда можно заметить немного иллюзии, потому что внутреннее возбуждение распространяется до периферических нервов. Здесь Штрикер снова прибегает к своему сравнению с бассейном и трубками. Воспоминание бывает лишь тогда, когда волны рождаются в бассейне. Если они приводят в колебание соединительные трубки, воспоминание становится пластическим; но если волна приходит в чашечку трубки, возникает иллюзия: это все равно как если бы туда бросили камешек.

Скажем слово об идее движения. Мы не знаем, каким образом мышца подает нам о себе вести; но существование мышечного чувства несомненно. Вопрос о том, как рождается в нас представление движения, труден и еще не получил удовлетворительного решения. Возможно, оно складывается просто из указаний, которые мы получаем через чувствительные нервы кожи, связок, суставов и костей, а кроме того — через зрение и слух, следящие за движением. Как бы то ни было, вот как можно объяснить волю. Впечатление на орган вызывает рефлекторно сокращение мышцы. Впечатление и движение запечатлеваются каждое в определенной точке мозга. Вообразим теперь, что точка, где запечатлено впечатление, возбуждена посторонней причиной, которая вызывает там таким образом

воспоминание, и что это возбуждение дает себя знать вплоть до точки, где запечатлелось движение, образ которого тем самым воспроизводится: мы сможем сказать, что движение желаемо, а движение, распространяясь из этой точки к мышце тем же путем, которым образ движения прошел в обратном направлении, чтобы отпечататься в мозгу, будет названо произвольным. В самом деле, не следует упускать из виду, что можно хотеть лишь того, что уже испытал. По этому поводу отмечу тонкий, но глубокий парадокс, достойный размышления всех, кто стремится проникнуть в задачу свободы: если логические поступки представляются нам вынужденными, то тем более такими должны быть признаны поступки нелогичные, ибо само собою разумеется, что раз каждый предпочитает действовать логично, когда может, то нелогично он действует против своей воли.

Как же все это связано с теорией суждений о внешних вещах?

К числу важнейших наших внутренних восприятий надо отнести восприятия отношений между представлениями. Когда я говорю: лошади бегут, — я высказываю отношение, которое не только мыслится и выражается, но мыслится и выражается как соответствующее внешней действительности. Различали первичные и вторичные качества материи и об одних, таких как протяженность, фигура, движение, покой, непроницаемость и число, говорили, что они объективны, а о других, таких как цвет, запах, вкус и т. д., — что они субъективны. Беркли отрицает основание этого различения. Однако, говорит Штрикер, я без всякого труда могу допустить, что то, что вне меня соответствует ощущению цвета, не есть цвет; но я не могу помыслить, чтобы идеям, которые у меня есть о движении и сопротивлении, вне меня соответствовали не движение и сопротивление; эти идеи

заключены в идее материи, тогда как идеи цвета, запаха и т. д. к ней лишь прилагаются.

Именно мышечный процесс приводит нас к идеям движения и сопротивления и к тем, что из них выводятся (объем, масса, скорость, время, место и т. д.), и в этом отношении они нечто субъективное; но мы не можем помыслить, чтобы этому субъективному не отвечала сходная действительность. Назовем отношениями материи (*Verhältniss der Materie*) указания, приходящие извне, помимо чувственных качеств. Извне мы воспринимаем качество и отношение, и они неразрывно связаны в каждом представлении материи. Мы не можем вообразить массу без цвета или движение без чувственно воспринимаемого движущегося тела. Именно сообразно отношениям упорядочиваются опыты в моем мозгу, и именно сообразно этому порядку я привожу идеи внешнего в связь друг с другом и сужу о внешнем. Следовательно, я вправе утверждать, что мои суждения об отношениях вещей суть действительные образы этих отношений.

При таком положении дел в каком случае можно утверждать, что суждение ложно и что ум, который его выносит, расстроен? Где признак заблуждения? Локк знает лишь суждения опыта. Кант различил суждения *a priori* и суждения *a posteriori*. Первые я не могу мыслить иначе и понимаю их как необходимые; вторые высказываю лишь на основании доводов, почерпнутых из опыта. Заблуждение может касаться только последних. Здоровый человек обосновывает мотивы своего утверждения, душевнобольной высказывает его как суждение *a priori*: это так, потому что это так. Откуда вы знаете, — спрашивали одного душевнобольного, — что ваш хозяин намерен вас отравить? — Ничего я не знаю, но это так, — таков был его ответ.

Следовательно, источник этих ошибок суждения не в каком-либо обмане чувств, и мотивы их чисто внутренние. Поэтому можно сформулировать следующее определение: всякое суждение *a posteriori* о внешнем мире, которое считается истинным наподобие суждения *a priori*, должно рассматриваться как заблуждение. Слова «наподобие суждения *a priori*» означают «не принимая в расчет данных извне и даже вступая с ними в противоречие». Что же касается суждений *a posteriori* о вещах внутреннего опыта — я болен, я счастлив, я учен, — то здесь признак от нас ускользает, если только они не сопровождаются несообразными суждениями о внешнем, например: меня отравили, я богат, мной восхищаются.

Каким образом рождаются неразумные идеи? Существенное условие — чтобы эти идеи были господствующими, или навязчивыми. Однако не все навязчивые идеи непременно болезненны: таковы, например, те, что внушает потеря состояния или мысль об отдаленной опасности. Разница между теми и другими в том, вытекают ли они из действительной причины и удается ли их разрушить, сопоставив с действительностью. Когда известный ряд идей часто воспроизводится без заметной внешней причины, мы должны допустить, что в мозгу существует определенный участок нервной ткани, который работает под действием внутренних возбуждений и обладает высокой возбудимостью. И коль скоро навязчивая идея признается истинной, налицо безумие, — при условии, разумеется, что суждение касается внешних отношений или влечет за собою суждения такого рода. Тот, кто не может не предчувствовать несчастья, не обязательно безумен.

Чем объяснить возможность ошибочной веры во внешние отношения, которых не существует? Разрывом связей,

соединяющих господствующие идеи с частью потенциального знания. Несколько соображений о сне и сновидениях способны подкрепить это мнение.

Всякий орган после деятельности стремится к покою. Некоторые состояния покоя мозга называются сном. Когда мы хотим спать, мы устраняем внешние возбуждения; но обычно усталость приводит сон совершенно естественно, делая возбуждения недейственными. Однако то, что верно для мышечной системы, неверно для нервной: избыток работы, особенно около сорока лет, ее перевозбуждает, а не угнетает — то ли потому, что сохраняется прилив крови, то ли потому, что возбудимость все растет. Те, у кого нервная система в движении, не могут заснуть иначе как с помощью двух-трех граммов хлорала, вещества, которое замедляет и парализует действие нервов. Без сомнения, лучше было бы прибегнуть к мышечной усталости, которая естественно располагает ко сну. Сон обычно длится до возвращения возбудимости мозга, и, пока он длится, мы не получаем впечатлений извне; нет живого знания, нет актуального познания, и само потенциальное знание не посылает воспоминаний. Мало-помалу возбудимость возвращается, а с нею поначалу и сновидение. Всплывают воспоминания, и внешние возбуждения, более или менее воспринятые, вплетаются в них; так и образуется сновидение.

Мы видели выше, что если предметы наших сновидений воспринимаются как действительные, то потому, что внутреннее движение распространяется до периферических окончаний чувствительных нервов. Но почему я обманываюсь? Почему становлюсь жертвой иллюзии сновидения? Когда я слышу голос друга, он пробуждает в моей душе множество связанных с ним идей, составных частей потенциального знания, благодаря

которым я представляю себе этого друга. Но если под утро этот друг придет поговорить со мной, когда я погружен в сновидение, его голос вызовет не эти идеи, а другие, по большей части лучше подходящие к сновидениям, которые я вижу. И таким образом они не ведут ни к поправке, ни к противоречию.

Нечто подобное происходит и в безумии. Душевнобольные не умеют связать свои навязчивые идеи со своими восприятиями; они могут быть логичны в своем безумии, но не могут его обосновать. Оно происходит оттого, что отдельные отправления выступают на первый план, тогда как другие останавливаются. Некоторые части мозга работают слишком часто; через это одна идея становится господствующей, и так растет склонность считать ее истинной. Другие части работают слишком мало, и потому эта склонность не подавляется и ошибка не исправляется.

Подытожим одним словом этот долгий разбор. Сновидение, как и видения безумия, создает иллюзию, потому что затрагивает периферию, и обманывает, потому что связи субъекта с внешним миром на время разорваны, — связи, которые находят свое выражение в потенциальном знании.

Подобный вывод, но выраженный менее отчетливо, мы нашли в труде Радештока.

Я не могу обсуждать здесь все положения учения, которых коснулся Штрикер. Остановлюсь лишь на двух, которые ближе всего касаются моего предмета.

По его словам, для того чтобы возникла иллюзия, периферические органы должны прийти в движение под действием центральной системы. Во-первых, это чистая гипотеза; кроме того, если понимать ее буквально, она, по-моему, противоречит фактам. Я знал одну особу старше восьмидесяти лет, которая около тридцати лет от роду потеряла слух. Уже лет

десять она была совершенно глуха: самых сильных шумов она больше не слышала. Общаться с ней можно было только письменно. И вот в своих снах — я нарочно ее об этом спросил — она всегда без труда слышала тех, с кем разговаривала, и ей никогда не снилось, что ей должны писать, чтобы она поняла.

Другой пример. Знаменитый физик Плато, как известно, ослеп. Я попросил его — это было через тридцать шесть лет после его несчастья — любезно сообщить мне, каковы его зрительные ощущения в бодрствовании и во сне. Вот что он мне ответил:

> 1) Обычно мне снится, что я вижу; иногда мне снится и то, что я не вижу; в других случаях мне снится, что глаза мои излечиваются и я снова начинаю видеть. Когда мне снится, что я не вижу, я обычно иду по знакомой улице; но через некоторое время перестаю понимать, где нахожусь, и тогда обычно кто-нибудь подходит, берет меня под руку — знакомый или незнакомый — и ведет.
>
> 2) Когда мне снится, что я вижу, это часто горные пейзажи; опыты или приборы снятся мне чрезвычайно редко; предметы, которые я вижу, имеют свой естественный цвет.
>
> 3) Наяву я почти всегда вижу в воображении место, где нахожусь, и присутствующих лиц.
>
> 4) Когда я вижу во сне незнакомых людей или же своих детей, я лишь очень смутно вижу их лица.

В этом отношении Плато поступает как все. Если переписываешься с незнакомыми людьми, которых знаешь лишь по письмам или сочинениям, то большей частью без всякого основания приписываешь им определенную наружность, и если они тебе снятся, у них непременно есть тело и лицо. Итак,

отсутствие неповрежденных периферических органов не мешает работе воображения.

Эти два факта, которые, без сомнения, не единичны, ибо я их не подбирал, а просто встретил, доказывают, что смысл слова «периферия» нуждался бы в уточнении. Следовало бы не останавливаться на буквальном значении и понимать периферию как нечто менее поверхностное и более глубокое.

Второй пункт вот какой. Суждения душевнобольных, поскольку они больны, имеют, говорит Штрикер, форму суждений *a priori*. Это остроумное определение, в котором, несомненно, есть верные стороны. Но разве нечего в нем оспорить? Наши антипатии и симпатии, например, тоже не обоснованы рассудком. Селимена,

Чей нрав кокетливый и острый, злой язык
Так хорошо пришлись к теперешним обычаям,

завладела сердцем Альцеста, которому, однако, любовь не закрывает глаз на недостатки молодой вдовы. Он

Их первым видит, первым осуждает,

и все же находит ее очаровательной.

В *Ученых женщинах* рассудительная Генриетта говорит Триссотену с явной иронией:

Нельзя, вы знаете, двоим отдать одно сердце;
А мною, чувствую, Клитандр уже владеет.
Я знаю: у него куда меньше заслуг, чем у вас.
. . . . . .
Я вижу, что не права, да что тут поделать;
И все, что надо мной способен рассудок, —
Заставить меня досадовать на эту слепоту.

Итак, можно, не будучи расстроенным умом, ошибочно высказывать как аксиому, что такой-то человек зол или добр, лжив или искренен, жесток или чувствителен. Так непременно ли признак душевного расстройства — верить, что он питает к вам дурные намерения, что он, например, хочет вас отравить?

Пойдем дальше. Что такое прозрения гения, как не предвосхищения *a priori*? И, доводя дело до конца: на одном ли разуме покоится всякая вера, всякое внутреннее и безусловное убеждение? Вера и сомнение — суждения, которые могут быть более или менее обоснованы; но в своей вере и в своем сомнении человек уверен. Эта общая и высшая достоверность по необходимости есть достоверность *a priori*; неужели она плод безумия? При мне высказывают новую идею: еще до всякого рассмотрения я ее принимаю или отвергаю. Поступаю ли я при этом как безумный? Тот, кто без причины недоверчив, — а так бывает часто, — разве безумен?

Я знал одного бедного меланхолика, бредившего лишь в одном пункте: вид меди повергал его в невыразимый ужас. Свое отвращение он обосновывал. Медь покрывается ярью-медянкой; эта ярь пристает к рукам, и так можно, сам того не желая, отравить себя или, что еще хуже, отравить других. Вот обоснованное суждение; разве оно от этого меньше служит признаком душевного расстройства? Но, с другой стороны, вот девушки, которые падают в обморок при виде мыши, гусеницы, безобидной ящерицы; они не смогли бы оправдать своего отвращения, — кому придет в голову утверждать, что их надо поместить в лечебницу? Если бы помещали в лечебницу всех, кто без причины верит, «что хозяин хочет их отравить», не знаю, много ли осталось бы здравомыслящих, чтобы их сторожить.

Сделаем вывод. Субъективная достоверность, вера, как я выразился в другом месте[1], непременно сопровождает наши суждения, наши утверждения, наши отрицания, наши сомнения. Эта достоверность присуща человеческому уму. Когда во сне или в приступе безумия я сужу, что 2 и 2 будет 5, это положение тогда в моих глазах так же несомненно, как другое — 2 и 2 будет 4 — для тех, кто в здравом уме. Вот тому доказательство.

---

[1] См. мою *Научную логику*, особенно предисловие. См. также мою *Алгоритмическую логику*, часть первая, в особенности § VI, *Постулаты мышления*. С интересом прочтется статья г-на В. Эггера, напечатанная в *Анналах факультета словесности в Бордо* (1879, № 2), *о психологическом основании научной достоверности*.

Однажды ночью мне снилось немецкое кафе, где я выпил кружку пива. Надо было заплатить 37½ сантима. — Это число странно лишь на вид: это стоимость во французской монете 30 пфеннигов, то есть трех десятых марки (1 франк 25 сантимов). По крайней мере так я себе это объясняю. — Я подхожу к стойке и кладу на нее сначала монету в 20 сантимов, потом монету в 10. Дама, перед которой я кладу эти деньги, находит, что счет не сходится, и делает мне замечание. Я удивляюсь. «Сударыня, — говорю я ей, — разве 20 и половина от 20 не составляют 37½?» Дама, казалось, не поняла. Напрасно я старался: мои доводы не проникали в ее ум. Подходят официанты и признают мою правоту; дама упорствует в своей ошибке; вмешиваются посетители и признают ее неправой. — Наконец, ошеломленная и озадаченная, она перестает настаивать, и я наконец выхожу, уверенный в своем праве, со спокойной совестью, но все более удивляясь этому странному помрачению ума у торговки, которая не видит, что 20 и половина от 20 составляют ровно 37½[2].

[2] Если держаться того, что я сказал выше об альтруизации «я», изумление дамы, когда она слышит от меня эту нелепость, есть признак того, что у меня еще оставался проблеск здравого смысла. С другой стороны, когда, проснувшись, я постарался понять, что могло привести меня к такому несуразному сложению, я тотчас заметил, что у меня, должно быть, было смутное чувство некоего способа образования числа 37½, которое в самом деле равно 20, плюс половина от 20, то есть 10, плюс половина от 10, то есть 5, плюс половина от 5, то есть 2½.

Научная достоверность иной природы: она никогда не бывает безусловной. Она совместима с умозрительным сомнением. Так, я вполне могу высказать сомнение, совершенно законное с научной точки зрения: не сплю ли я в эту минуту и не безумен ли? Ибо, напомним, всякий во сне считает себя бодрствующим и всякий безумный считает себя разумным.

Таким образом, психологическая задача о природе сновидений связана с теорией достоверности так же, как и с теорией памяти сохраняющей и памяти воспроизводящей. Мы рассмотрим ее с каждой из этих сторон. Таков предмет следующих страниц.

СОН И СНОВИДЕНИЯ В ИХ ОТНОШЕНИИ К ТЕОРИИ ДОСТОВЕРНОСТИ

✦

Глава I. Основание веры вообще и в особенности веры во внешнюю действительность

Всякая вера есть следствие привычки. — Объективное различие восприятия и представления: восприятие предполагает присутствие ощущаемого предмета, оно всегда актуально; представление предполагает отсутствие представляемого предмета, оно может быть актуальным или потенциальным. — Актуальное представление предмета не может существовать одновременно с восприятием этого предмета. — Основание всякой веры — чувство существования внешней действительности, действующей на нашу чувствительность; это чувство есть дело привычки.

Всякая вера есть следствие привычки. В силу привычки мы приписываем телесное существование образу, отраженному в зеркале; в силу привычки галлюцинирующий верит в действительность своих видений.

Есть нечто вне меня, есть нечто, что не есть я, — вот первое *сознательное* суждение, выносимое чувствующим существом. И со дня, когда оно составило это суждение, ведет начало его первое восприятие: оно отличает себя от окружающих вещей и учится их познавать.

Дальнейший опыт показывает ему, что чувствующее «я», внутреннее «я», соединено с внешней оболочкой, которую оно воспринимает как нечто чуждое и независимое. Таково

происхождение противоположения, которое сознание устанавливает между душой и телом. Для всякого чувствующего субъекта его собственное тело есть предмет восприятия.

Мне нет нужды сейчас подробнее останавливаться на этих предварительных понятиях: я сделал это достаточно пространно в другом сочинении[3] и еще вернусь к ним позже.

---

[3] *Психология как естественная наука*. Париж и Брюссель.

Всякое восприятие способно целиком или отчасти перейти в состояние представления.

Психологи давно различили восприятие и представление. Однако и сегодня можно еще лучше обозначить их отличительные черты.

Восприятие — это образ внешнего предмета как такового, который складывается в нашем уме под прямым и наличным действием этого предмета. Восприятие всегда определенно. Так, у меня есть зрительное восприятие лошади или осязательное восприятие булавки, когда лошадь, действуя в настоящую минуту на мое зрение, или булавка — на мое осязание, порождает во мне идею этой лошади или этой булавки как внешней и наличной причины моего ощущения.

Иное дело — образ вещи, некогда воспринятой и вызванной в моем уме в отсутствие этой вещи или, по крайней мере, вне ее непосредственного действия. Такова идея лошади или булавки, которых я не вижу или не чувствую в ту минуту, когда у меня эта идея. Образ, воспроизведенный таким образом, есть воспоминание.

Рядом с этими образами, предмет которых больше не присутствует, естественно и необходимо становятся вымыслы, которые не соответствуют никакому действительному предмету

и суть произведение свободного или самопроизвольного сочетания прошлых восприятий, перешедших в состояние воспоминаний. Такова идея, которую я составляю себе о кентавре, о химере, о дереве с человеческим лицом. В один ряд с этими вымыслами, которые можно назвать фантастическими, надо поставить и те, что можно было бы назвать научными, историческими, художественными и т. д. Так люди пришли к тому, чтобы представить себе фауну и флору первобытных эпох; так составляют себе представление о странах, где никогда не бывали; так придают облик Гомеру, Моисею, Конфуцию, Александру, Цезарю; так греки запечатлели в бессмертном мраморе черты всех своих богов и всех своих героев.

Воспоминания и вымыслы суть представления.

Наши представления, правда, не ограничиваются материальными образами. Человек благодаря дару речи доводит до очень высокой степени способность отвлечения и приходит к тому, что мыслит вещи, не поддающиеся материальному изображению, такие как добродетель, доброта, долг, сила. Так как в дальнейшем нам редко придется пользоваться этим законным расширением смысла слова «представление», оно будет служить нам почти исключительно для обозначения образов, которые были или мыслятся как бывшие плодом прямого восприятия. Я никогда не имел и не мог иметь прямого восприятия Цезаря или кентавра; однако благодаря чтению и произведениям искусства они производят на меня впечатление того, что были или могли бы быть предметом восприятия.

Восприятия всегда актуальны. Представления могут быть актуальными или потенциальными. Представление актуально, когда оно видимо уму, когда оно предмет внимания, когда оно входит в состояние сознания. Потенциально же оно, напротив,

тогда, когда в настоящую минуту не служит предметом внутреннего созерцания.

Не следует смешивать потенциальность с возможностью в том смысле, как ее понимает Аристотель. Для него в возможности было бы такое представление, которое еще не образовалось, но могло бы образоваться; тогда как потенциальное представление существовало хотя бы однажды в форме восприятия. Я не держу постоянно в уме все свое знание, все свои воспоминания, все свои идеи. Лишь часть, бесконечно малая часть этого знания может всякий раз, в данное мгновение, быть предметом акта сознания; остальное остается погребенным во мраке бессознательного и составляет то, что Штрикер называет потенциальным знанием. Смотря по необходимости или потребностям минуты, составные части потенциального знания всплывают на свет, отбрасывая в тень те, что мгновение назад были залиты полным светом. Такова вечная игра жизни ума.

Для краткости, говоря о представлениях без особого добавочного обозначения, я буду разуметь представления актуальные.

Представление, действительное или вымышленное, вообще и в силу самого своего определения берет начало в предшествующем восприятии. Я не могу представить себе ни лошади, ни кентавра, если еще не видел лошади. Но с той минуты, как у меня было восприятие лошади, я неизгладимо — тысяча фактов это доказывает — сохраню ее потенциальное представление, хотя может случиться, что никогда не представится повода перевести это представление из возможности в действительность. Впрочем, сейчас это для нас неважно.

Но вот замечание величайшей важности: актуальное представление предмета невозможно, пока этот предмет

действует на нашу чувствительность. Одним словом, восприятие и представление одного и того же предмета не могут существовать в сознании одновременно: восприятие полностью гасит представление. Действительность всепоглощающа и ревнива: всякая идеальность исчезает перед ней, как звезды перед солнцем.

Опыт проделать легко. Попробуйте живо представить себе знакомую вам картину. Это будет нетрудно, если вы закроете глаза, и образ может даже приобрести такую яркость, что почти обманет вас. Живописец может написать портрет по памяти. Если вы держите глаза широко открытыми, усилие уже тягостнее: вы должны, так сказать, силой воли уничтожить их зрительную способность, поразить их слепотой по отношению к вещам, которые могли бы привлечь их внимание. Если вы устремите взгляд на определенный предмет, например на гравюру, вам будет почти невозможно увидеть свою картину мысленно. Но вы наверняка никак не сумеете этого сделать, если эта самая картина у вас перед глазами и вы на нее смотрите.

Другой пример. Каждый более или менее хорошо умеет мысленно пропеть знакомый мотив. Шум несколько мешает этой способности; но другой мотив, звучащий поблизости, мешает ей гораздо больше, и тем больше, чем ближе он по движению и ритму к выбранному. Наконец, если оба напева тождественны, попытки услышать внутренние ноты совершенно напрасны.

Вера в существование воспринимаемого предмета навязывается нам. Декарт сказал: я мыслю, следовательно, я существую; он с тем же основанием мог бы прибавить: я воспринимаю, следовательно, существует воспринимаемый предмет. Повторим: сознавать себя — значит, точнее говоря, сознавать не-себя как таковое. Без сомнения, вера в собственные

ощущения логически первая и служит безусловным образцом для всякого рода веры; но вера в существование внешней действительности — какова бы она ни была — равна ей по силе. Так же верно, как я знаю, что существую, я знаю, что я не все, что существует. Когда это чувство действительности ослабевает, одновременно затемняется и чувство «я». Так бывает в сновидении, в опьянении, в безумии. В этом случае обоснованная достоверность становится затруднительной, если не невозможной.

Итак, основание всякой веры — это чувство существования внешней действительности, действующей на нашу чувствительность; и это чувство есть плод привычки, которую индивид получил от предков и которую не переставал укреплять собственным опытом.

Глава II. Неиллюзорный характер грез наяву и иллюзорный характер сновидений

Субъективное различие восприятия и представления основано на контрасте: одно несравненно живее другого. — Грезы наяву — это представления существ бодрствующих; сновидения — представления существ, поскольку они спят, то есть поскольку они лишены способности восприятия. — Привычки не засыпают. — Причина иллюзорного характера сновидений. — Обзор авторов: Аристотель, Гоббс, Мори, Мен де Биран, Гарнье.

Итак, по своим существенным психологическим признакам представление не отличается от восприятия. Различие между ними основано на внешнем обстоятельстве — присутствии или отсутствии предмета как ощущаемого. Нужно ли говорить, во избежание недоразумения, что слово «предмет» не следует

понимать буквально и что для чувствующего существа отраженный образ такой же предмет, как и действительный? Но я схватываю предмет лишь через посредство своей чувствительности; как же я могу распознать, что представление не есть восприятие? Или еще: откуда я могу удостовериться, что восприятие не есть представление и что существует наличный предмет, которому оно соответствует? Нет ли тут материальной невозможности?

Один из персонажей *Набоба* г-на А. Доде доставляет мне превосходный приступ к ответу на этот вопрос.

> Г-н Жуайез... был человеком плодовитого, изумительного воображения. Мысли сменялись у него с быстротой пустых соломинок, пляшущих вокруг решета. В конторе *цифры еще удерживали его* своей положительной хваткой; но вне ее ум его брал реванш у этого неумолимого ремесла. Движение ходьбы, привычка к дороге, все мелкие происшествия которой он знал, давали *полную свободу* его способностям к вымыслу. Тогда он сочинял необычайные приключения, которых хватило бы на двадцать романов-фельетонов.
>
> Если, например, г-н Жуайез, поднимаясь по предместью Сент-Оноре по правому тротуару — он всегда шел именно по нему, — замечал тяжелую повозку прачки, мчавшуюся крупной рысью, а правила ею деревенская женщина, чей ребенок, взгромоздившись на узел с бельем, немного свешивался:
>
> — Ребенок! — кричал перепуганный добряк. — Осторожнее с ребенком!
>
> Голос его терялся в грохоте колес, а предостережение — в тайнах Провидения. Повозка проезжала. Он с минуту провожал ее глазами, потом снова пускался в путь; но драма, начавшаяся в его уме, продолжала развертываться там с тысячью перипетий...

Ребенок упал... Колеса вот-вот переедут его... Г-н Жуайез бросался вперед, спасал малютку у самого порога смерти; только дышло ударяло его самого прямо в грудь, и он падал, обливаясь кровью. Тогда он видел, как его несут в аптеку среди собравшейся толпы. Его клали на носилки, чтобы отнести домой, и вдруг он слышал раздирающий крик своих дочерей, своих любимиц, увидевших его в таком состоянии. И этот отчаянный крик так проникал ему в сердце, он слышал его так отчетливо, так глубоко: «Папа, милый папа!..» — что сам испускал его на улице, к великому изумлению прохожих, хриплым голосом, который пробуждал его от этого придуманного кошмара[4].

[4] Вот еще один разительный пример *альтруизации*: крик, который испускает г-н Жуайез, он заставляет вырваться из груди своих дочерей.

Автор немного дальше прибавляет такие разумные слова: «Порода этих *спящих наяву* многочисленнее, чем думают: у них слишком тесная судьба сдавливает неиспользованные силы, героические способности. Греза — это клапан, через который все это улетучивается со страшным бурлением, с жаром горнила и с плывущими образами, тотчас рассеивающимися. Из этих *видений* одни выходят сияющими, другие — подавленными, растерянными, вновь очутившись в будничной приземленности»[5].

[5] *Набоб*, гл. V, «Семья Жуайез».

Кто из нас не бывал в иные часы этим спящим наяву, так хорошо описанным знаменитым романистом? Какая литература не завладела этим типом, которого находишь в театре и даже в баснях? Не из Индии ли пришла к нам, через ряд последовательных превращений, очаровательная Перретта, которая в порыве радости опрокидывает кувшин с молоком, где ей мерещилось целое состояние?

Все знают наизусть остроумные рассуждения поэта:

Чей ум не блуждает в полях?
Кто замков в Испании не строит?
. . . . . .
Один я — бросаю вызов храбрейшему;
Иду и свергаю шаха с престола;
Меня избирают королем, народ меня любит;
Короны дождем на голову мне сыплются;
Но стоит случаю вернуть меня к себе —
И снова я простой Гро-Жан, как прежде.

Итак, нужен *случай*, чтобы мечтатель пришел в себя; здесь это злополучный прыжок молочницы, там — крик, вырвавшийся у г-на Жуайеза. Но как действует этот случай? Очевидно, через контраст. Я пока не пытаюсь объяснить факт, я его констатирую. Между впечатлением, которое г-н Жуайез получил от речей, слышанных им лишь в воображении, и тем, которое вызвали у него слова, действительно произнесенные им самим, разница была так велика, что он не мог не отнести их к двум противоположным причинам и заключил, что с одной стороны причина была вымышленной, а с другой — действительной. Точно так же милой Перретте, которая так увлеклась прыжками коровы и ее теленка, пришлось с огорчением расстаться со всеми этими воображаемыми благами, когда неумолимая действительность грубо представила ее взору пролитое молоко. Иллюзия была больше невозможна.

Чего же недостает грезам наяву, чтобы их сочли сновидениями? Совсем немногого: достаточно, чтобы мечтатель спал и тем самым был изъят из-под действия внешнего мира. Если бы г-н Жуайез, вместо того чтобы идти в контору, начал свой

роман в кресле во время послеобеденного отдыха и незаметно отдался сну, психологическое явление не было бы иным.

Итак, сновидение характеризуется обстоятельством чисто физиологическим: тем, что оно возникает у спящего существа. Тем самым мы принимаем от своего имени определение Аристотеля: «Образ, порожденный движением чувственных впечатлений, когда спят, поскольку спят, — вот что такое сновидение»[6].

---

[6] *О сновидениях*, гл. III, в конце.

Разберем это определение; посмотрим, почему Аристотель, сказав «когда спят», прибавляет слова «поскольку спят».

«Сновидение, — говорит он, — это не всякий образ, являющийся нам во сне; ибо нам случается иногда ощущать некоторым образом и шумы, и свет, и вкус, и прикосновение — слабо, правда, и как бы издалека. Так, например, во сне смутно увидишь слабый свет, который во сне примешь за свет лампы, а проснувшись, убедишься, что это действительно был свет лампы; и так же с пением петухов и лаем собак, которые по пробуждении действительно узнаешь. Порой даже отвечаешь на вопросы. Это происходит оттого, что, как и бодрствование, сон бывает частичным».

Это замечание глубоко верное. Сколько раз мне случается около часа пробуждения быть погруженным в приятное сновидение, хотя и совершенно причудливое и вовсе неправдоподобное, и в то же время слышать над головой шаги и щебет детей, которые одеваются, а под собой — хождение прислуги, убирающей столовую и накрывающей стол к первому завтраку! По отношению к своему сновидению я сплю; для этих разнообразных звуков, возвещающих возвращение жизни, я бодрствую.

Явления того же рода наблюдаются и в час, когда собираешься заснуть.

Да и вообще, в обоих этих переходных состояниях разве нет постепенного вторжения то бодрствования в сон, то сна в бодрствование? Значит, бывают мгновения, когда бодрствуешь и спишь лишь отчасти. Слуга, которому вы поручили постучать в вашу дверь, чтобы вас поднять, обращается к той части души, которая уже слышит и воспринимает внешние звуки; ибо иначе как бы он сумел вас разбудить и как бы вы могли ему ответить? А это восприятие звука, конечно, не сновидение, хотя оно и происходит во сне.

Сделаем же вывод и оставим название сновидений за образами и представлениями, которые являются нашему уму, пока мы спим и поскольку мы спим. Таков первый отличительный признак сновидения.

Нетрудно видеть, что этот способ определения вполне применим к галлюцинациям душевнобольного, к бредовым идеям больного в лихорадке, к сладострастным восторгам курильщика опиума, к несуразностям пьяного. Сновидение, галлюцинация, бред, экстаз, опьянение суть то, что они есть, и характеризуются как таковые в силу физиологического состояния субъекта, у которого они возникают. Без сомнения, в обыденном языке говорят о снах безумного; но, говоря научно, так же как безумие и сон — два различных физиологических состояния, так и надо различать фантастические образы, являющиеся здоровому человеку во сне, и химерические представления душевнобольного, лихорадящего, пьяного, не спящих при этом.

Однако необходимо придать ограничению Аристотеля всю его силу.

Вспомним, что говорит Штрикер. Мне снятся разбойники, и мне страшно; разбойников нет, но мой страх существует. Разве этот страх присущ моей душе, поскольку она спит? Матери снится, что ее единственный ребенок катится в пропасть, и сердце ее разрывается. Разве тоска, которую она испытывает, не действительность? Повод воображаемый, согласен; но разве от этого меняется природа чувства? Разве боль или удовольствие, которые мы испытываем при ложном известии, от этого меньше боль или удовольствие?

Другой случай: мне снится, что я в кафе с друзьями, которых я туда пригласил; я собираюсь заплатить за всех; мысленно подсчитываю сумму. Есть ли эта операция действие моего ума, поскольку он во власти сна? Когда наяву я думаю, что 2 и 2 будет 4, меняет ли это суждение свой характер, когда я высказываю его во сне?

Обобщим. Во сне я рассуждаю и говорю; рассуждения мои правильны, и речь моя правильна. Эта последовательность в мыслях, это применение грамматических правил — дело ли спящего человека? Или они берут начало в такой части души, которая никогда не спит? Мы видели выше, что Шпитта приписывал *Gemüth* свойство никогда не спать. Можно, мне кажется, еще расширить область деятельностей, ускользающих от оцепенения сна. Одним словом, привычки не засыпают. Спит то, что на время перестало или почти перестало находиться в отношении с внешним миром. Поэтому надо тщательно отличать то, что есть собственно сновидение, от того, что вытекает из толчка, данного сновидением.

Одного примера будет довольно, чтобы окончательно прояснить этот пункт. В прошлые каникулы я обещал детям совершить с ними прогулку на целый день. Накануне сделали все

приготовления на завтра. Надо было уехать с первым поездом, сойти на одной станции, а дальше продолжать путь пешком. Для этого надо было встать рано. Около пяти часов утра служанка приходит сказать мне, что идет дождь и, похоже, зарядил надолго. Прогулку поневоле пришлось отложить. Я снова засыпаю, и мне снится хорошая погода. Мне снова приходит в голову замысел прогулки: напрасно я не поехал, несмотря на угрозы неба; мы были бы теперь на станции, где должны были сойти, и перед нами был бы прекрасный день; в нашей стране никогда не следовало бы забывать, как переменчива погода от одной минуты к другой; много раз мне случалось пускаться в путь под дождем и через час после отъезда видеть, как сияет солнце. Короче, я предавался всем тем размышлениям, которые непременно стал бы делать наяву, если бы погода и в самом деле разгулялась. Спящий ли человек их делал? Не думаю: это был человек обыденной жизни.

В сновидении — этим оно отличается от грез наяву — иллюзия полная. Причина тому проста. Спящий наяву, если воспользоваться удачным выражением г-на Доде, тешится отступлениями своего воображения, отдается им сознательно, а часто даже направляет их; но он знает, что находится во власти более или менее добровольного обмана. Это явное сознание происходит единственно от того обстоятельства, что он не отделен от окружающего мира. Г-н Жуайез видит дома, задевает локтем прохожих, улавливает слова, крики, всякого рода шумы; и эти впечатления, хотя и ослабленные рассеянностью субъекта, все же своей силой контрастируют с вялыми и бесплотными впечатлениями, которые в его выдумке доставляют воображаемая аптека, собирающаяся толпа и размышления, которые он вкладывает в уста народа. Смешение невозможно. Решительно,

дом, сборище, голоса — все это лишь создание его изобретательного воображения.

В сновидении этой точки сравнения нет; наши истощенные чувства посылают нам лишь смутные и притупленные ощущения; самые деятельные наши органы, прежде всего глаз, больше не работают; тогда образы, всплывающие на поверхность нашего мозга, создают нам воображаемый мир, которому мы приписываем действительность в силу укоренившейся привычки всегда видеть вокруг себя мир, отличный от нас и противоположный нам.

Итак, естественно, что в сновидении я вновь объективирую свои собственные идеи, которые изначально были объективными, поскольку сама действительная жизнь есть лишь ряд объективаций. Ибо, не забудем, мы на самом деле не видим вещей; мы ощущаем лишь впечатления, которые они нам посылают, и заключаем, что они существуют как причина этих впечатлений. Значит, сновидение не создает иллюзии. Иллюзия происходит единственно оттого, что впечатления, получаемые от внешних вещей, мы ощущаем лишь со значительно ослабленной силой. Поставьте рядом с вымышленной сценой сцену действительную, со всем ее блеском и красками, — и вымысел рассеется. Если могли думать, что «наши воспоминания рисуются во сне живее, чем в бодрствовании»[7], то потому, что смешивали живость относительную и живость безусловную.

[7] Альфред Мори, указ. соч., гл. V, с. 98.

Это можно наблюдать каждый день, и я двадцать раз наблюдал это на себе. Я только что пообедал; мне не слишком хочется сразу снова садиться за работу; я растягиваюсь в кресле перед пылающим камином и беру в руки роман. Дети играют, смеются,

кричат и шумят в коридоре. Читая, я угадываю и слежу за сценами, которые происходят рядом. Понемногу я поддаюсь дремоте; слова и звуки становятся все менее отчетливыми; я продолжаю свой роман в полусне; потом чаще всего кончаю тем, что сам играю в нем роль. Сон меня одолел. Но это состояние длится недолго. Через пять или десять минут крики и смех снова доходят до моего слуха; вымышленные персонажи медленно стираются; иногда я делаю усилия, чтобы их оживить и удержать; но образы малышей накладываются на них, сначала прозрачные, так что я воспринимаю одновременно и тех и других; потом они делаются все плотнее, их очертания обрисовываются, тени и света выступают; вымысел исчезает, уступая место повелительной и ревнивой действительности; я проснулся.

Итак, вообще говоря, наши представления распознаются как таковые, когда мы бодрствуем, благодаря преобладающей живости восприятий, на которые они проецируются; но в наших сновидениях они создают иллюзию именно потому, что восприятия наши тогда тупы и лишены блеска. В бодрствовании они производят впечатление пятна на светлом фоне; во сне они освещаются, потому что фон становится темным. Поэтому картины, которые представляют нам сновидения, почти никогда не имеют рамки.

Это столь простое объяснение встречается уже у Аристотеля[8]. Сновидения, говорит он, — это остатки ощущений, ибо всякое ощущение оставляет в душе прочный отпечаток. Днем внутренние движения проходят незамеченными из-за впечатлений, которые мы получаем, и из-за деятельности мысли: так маленький огонь исчезает перед огромным, а легкие страдания и удовольствия пропадают перед страданиями и удовольствиями большими. Но ночью наши чувства, бездействуя,

потому что они бессильны, позволяют этим движениям, неощутимым во время бодрствования, вернуться к средоточию чувствительности, и тогда они становятся вполне явными.

[8] *О сновидениях*, гл. III.

В новое время эту теорию отчетливее всех изложил Гоббс[9]. Подобно тому, говорит он, как движение, вызванное в спокойной воде падением камня, не прекращается, когда камень уже на дне, так и действие, произведенное предметом на мозг, сохраняется и после того, как предмет перестал действовать, и, хотя ощущения уже нет, представление остается. Когда бодрствуешь, это представление смутно, потому что всегда есть какой-нибудь наличный предмет, который тревожит и занимает глаза или уши; но во сне образы, остатки ощущений, являются сильными и ясными, потому что нет наличного ощущения; в самом деле, сон есть лишение акта ощущения[10], и потому сновидения — это воображения спящих.

[9] *О человеческой природе*, гл. III.

[10] «Узнают, что человек спит, когда он не ощущает», — говорит Аристотель в своем сочинении *О сне и бодрствовании*, гл. I.

Эта мысль, в сущности элементарная, без сомнения, приходила в голову всем, кто занимался сновидениями; мы встретили ее в сочинении Радештока. Но, кроме двух только что приведенных авторов, я не знаю никого, кто бы на ней остановился и сделал ее осью своей теории.

Я читаю, например, у Альфреда Мори[11]: «Итак, чтобы наш ум уловил разницу между идеями и внешними ощущениями, надо, чтобы он мог сравнить оба порядка ощущений и сопоставить действительность с тем, что есть лишь представление. Если бы, стало быть... чувства экстатика находились в том же состоянии,

что и чувства бодрствующего человека, внешние впечатления тотчас вернули бы его к чувству действительного, и он не мог бы принимать видения за факты; а этого как раз не происходит».

[11] *О сне и сновидениях*, 3-е изд., гл. X, «Об экстазе», с. 242.

Вот, выраженная лучше, чем мог бы это сделать я, вся суть теории сновидения. Но Мори подумал о ней лишь по поводу экстаза.

Мен де Биран говорит почти то же самое: «В обычном состоянии мгновенная убежденность, которую влекут за собою призраки воображения, непрестанно разрушается более живыми впечатлениями действительных предметов, которые их стирают[12], как дневной свет стирает свет лампы».

[12] *Новые соображения о сне*, часть 2-я, изд. Кузена, т. II, с. 251.

Мысль по существу безупречна. К несчастью, этот автор, чья логика, обычно строгая, была искажена духом системы, приписывает исчезновение этих пустых образов воле. Если во сне они нам навязываются, то, по его мнению, потому, что мы здесь совершенно пассивны; сон, в самом деле, будто бы характеризуется единственно отсутствием воли.

Итак, именно сравнительный недостаток блеска и рельефа отличает представление от восприятия, и можно сказать вообще, что представление во сне обладает еще меньшим *безусловным* блеском, чем в бодрствовании.

Именно постепенное ослабление впечатлений приводит к тому, что далекое прошлое представляется нам долгим сном; и порой следы минувших событий становятся так тонки, что спрашиваешь себя, происходили ли они в действительности или ты был их свидетелем во сне.

В этом я расхожусь с общепринятым мнением. Послушаем Гарнье[13]: «То, что мы сказали о грезах наяву, поможет нам отдать

себе отчет в сновидении. Представления сновидения еще рельефнее и отчетливее, чем представления грез наяву, потому что восприятия во сне еще меньше, чем при самой глубокой поглощенности в бодрствующем состоянии. Одновременно с тем как нас одолевает сон, восприятия мало-помалу нас покидают... Начинается царство представления: его предметы кажутся действительностью; никакое восприятие своим контрастом не дает распознать представление как то, что оно есть. Но когда органы естественно освобождаются от уз сна или сильное впечатление разом их освобождает, восприятие совершается, и сновидение рассеивается. Итак, опять-таки именно по контрасту восприятия и представления их отличают одно от другого».

---

[13] *Трактат о способностях души*, изд. Ашетт, 1865, кн. VI, § 10; т. I, с. 456, 455 и 465.

Это было бы почти приемлемо при условии, что представлению — будь то в бодрствовании, в грезах наяву или даже во сне — не приписывают той же яркости красок, что и восприятию.

Но выше автор сообщает нам, что «разница между восприятием и представлением не зависит от живости того и другого; это не разница в степени, а разница в природе», и, по его мнению, представления сновидений до того отчетливы, что, говоря о безумии, он пишет: «Все то время, пока длится безумие, представление получает ту же силу и, так сказать, ту же выпуклость, что и в сновидениях».

В этих последних словах заключена очевидная ошибка, которую я считаю излишним снова исправлять.

Глава III. Распознание при пробуждении обманчивого характера сновидений. Отсутствие безусловного признака

объективной достоверности

Мнение Декарта: отличительный признак сна и бодрствования — невозможность связывать сновидения так, как связываются события бодрствующей жизни. — Критика этого признака: разве логичное сновидение от этого меньше сновидение? — Отличительным признаком сновидения обычно служит пробуждение. — Не существует безусловного признака объективной достоверности.

Всякий знает, что Декарт ставил перед собой почти ту же задачу, и известно также, какое решение он ей дал. «Но, быть может, — говорит он, — хотя чувства и обманывают нас иногда в отношении вещей малоприметных и очень удаленных, встречается, однако, много других, в которых нельзя разумно сомневаться, хотя мы и познаем их через их посредство: например, что я нахожусь здесь, сижу у огня, одет в халат, держу в руках эту бумагу, и другие вещи того же рода... Однако я должен здесь принять во внимание, что я человек и, следовательно, имею обыкновение спать и представлять себе во сне те же самые вещи, а иногда и менее правдоподобные... Сколько раз мне случалось видеть ночью во сне, что я нахожусь в этом месте, что я одет, что я сижу у огня, хотя я лежал совсем раздетый в своей постели! Мне, правда, кажется сейчас, что не сонными глазами я смотрю на эту бумагу, что эта голова, которой я качаю, не дремлет, что я с умыслом и обдуманно протягиваю эту руку и ощущаю ее: то, что бывает во сне, не кажется столь ясным и отчетливым, как все это. Но, тщательно поразмыслив, я вспоминаю, что часто бывал обманут во сне подобными иллюзиями, и, останавливаясь на этой мысли, вижу так ясно, что нет верных признаков, по которым можно было бы отчетливо отличить бодрствование от сна, что я

совершенно изумлен; и изумление мое таково, что оно почти способно убедить меня, что я сплю»[14].

[14] *Размышление первое* (ближе к началу).

Затем Декарт старается рассеять сомнение, с которого, по его мнению, следует начинать, и так разрешает только что поставленную им трудность: «Конечно, это соображение очень помогает мне не только распознавать все ошибки, которым подвержена моя природа, но и избегать их или легче их исправлять: ибо, зная, что все мои чувства в том, что касается удобств или неудобств тела, чаще указывают мне истинное, чем ложное, и почти всегда имея возможность пользоваться несколькими из них для исследования одной и той же вещи, а кроме того, имея возможность пользоваться своей памятью, чтобы связывать и соединять нынешние познания с прошедшими, и своим разумением, которое уже открыло все причины моих ошибок, я не должен больше впредь опасаться, что найдется ложь в вещах, которые чаще всего представляют мне мои чувства. И я должен отвергнуть все сомнения этих прошедших дней как преувеличенные и смешные, в особенности ту столь общую неуверенность касательно сна, который я не мог отличить от бодрствования: ибо теперь я нахожу между ними весьма заметное различие в том, что наша память никогда не может связать и соединить наши сновидения друг с другом и со всем течением нашей жизни, как она обыкновенно соединяет то, что случается с нами наяву. И в самом деле, если бы кто-нибудь, когда я бодрствую, вдруг появился передо мной и так же исчез, как это делают образы, которые я вижу во сне, так что я не мог бы заметить ни откуда он пришел, ни куда ушел, то не без основания я счел бы его призраком или видением, образовавшимся в моем

мозгу и подобным тем, что образуются в нем, когда я сплю, а не настоящим человеком. Но когда я замечаю вещи, о которых отчетливо знаю и место, откуда они приходят, и то, где они находятся, и время, когда они мне являются, и когда я могу без всякого перерыва связать ощущение, которое у меня о них есть, со всем остальным течением моей жизни, я вполне уверен, что воспринимаю их бодрствуя, а не во сне. И я никоим образом не должен сомневаться в истинности этих вещей, если, призвав все свои чувства, свою память и свое разумение для их исследования, я не получу ни от одного из них ничего, что противоречило бы сообщаемому остальными. Ибо из того, что Бог не обманщик, необходимо следует, что я в этом не обманываюсь»[15].

[15] *Размышление шестое* (конец).

Вот это и есть проверка чувствами и разумом в том виде, как ее определили Грот и все авторы. Я читаю у Альбера Лемуана: «Бессвязность образов — для нас единственный отличительный признак сновидений»[16]. И дальше: «Вера, которую мы оказываем объективной действительности образов сна, в значительной мере зависит от того, что мы не можем ни произвольно, ни непроизвольно пользоваться своими чувствами, чтобы *исправлять* показания одних показаниями других»[17].

[16] *О сне*. Париж, Ж.-Б. Байер, 1855, с. 108.

[17] Там же, с. 112.

Я, право, знаю лишь одно чувство, которое берется исправлять другие: это осязание, которое позволяет нам удостовериться, например, что образы, отраженные зеркалом, не имеют тела[18]. Но кто же наяву когда-нибудь вздумает трогать людей, деревья и дома, чтобы удостовериться, что это действительные тела, или

поверить в материальное существование оптического образа? А с другой стороны, чем само свидетельство осязания уберегает галлюцинирующего от обмана призраками, которых он видит или слышит? Наконец, проверка, которая действительно позволяет мне, когда у меня есть сомнения, удостовериться в их предмете, не может применяться к сновидению, которое есть вещь прошедшая. А склонен ли я причислить к сновидениям все свои прежние восприятия, которые я тем не менее считал истинными, не подвергая их никакой проверке?

---

[18] Я пытался объяснить это свойство осязания в своей статье о *зрительном пространстве* («Философское обозрение», август 1877).

Мы видели, что бодрствующее состояние характеризуется живостью получаемых впечатлений. Но это не все. Эти впечатления логически сцеплены. Как говорит Декарт, знаешь, откуда они приходят, что им предшествовало, что за ними последовало. А чем они обязаны этому свойству? Внешнему миру, где события следуют друг за другом согласно закону причинности. Житель Льежа может оказаться в Париже лишь при условии, что он туда переехал. Таков порядок вещей. Ах, если бы мы жили в краях *Тысячи и одной ночи* или в волшебных садах Армиды, мы судили бы об обычных приключениях жизни по другим правилам, это ясно. Стоит вам только, подобно славному Рыцарю Ламанчскому, твердо верить в могущество волшебников или, не заходя так далеко, разделяя народные поверья, верить во влияние колдунов, — и сколько невозможных вещей вы сочли бы неоспоримой действительностью! Но природа, с одной стороны, и общественная среда, к которой вы принадлежите, с другой, дали вашему уму особое воспитание и особые склонности, и вы отказываетесь считать действительным то, что несовместимо с вашим опытом. Этот опыт — нужно ли говорить? — никогда не

бывает завершен. Каждый более или менее разделяет предубеждения своего времени. Тацит не подвергал сомнению ни авгуров, ни оракулов. Значит, полагаясь только на опыт, вы можете впасть в заблуждения. Но опять-таки именно в силу опыта человек знает, что он может ошибаться.

Все, что находится в безусловном противоречии с законами, которые, как я признал, управляют миром, я неизбежно отношу к воображаемому. Если сон возвращает к жизни умершего друга, я, не колеблясь, назову свое видение так, как оно того заслуживает. Так же будет, если в сцене, свидетелем которой я оказываюсь, есть внутренние противоречия, если, например, мертвый в ней движется и говорит. В этом отношении Декарт и Альбер Лемуан правы, и я подписываюсь под их словами. Но что будет, если дело обстоит иначе? А ведь порой сновидение совершенно правдоподобно и связно во всех своих частях.

Однажды одна из моих дочурок, которой было тогда восемь с половиной лет, попросила при мне у матери игрушку, которая, если ей верить, лежала на чердаке в доме ее бабушки, у которой мы гостили. Судя по ее описанию, это должна была быть большая лягушка с широко раскрытым ртом. Ей ответили, что такой игрушки не знают, что никогда ее не видели, что ее не существует. Тогда малышка принялась подробно ее описывать и совершенно точно указала место, куда она была *убрана*; бабушка ей ее показывала и обещала подарить, если родители позволят. Нам стоило величайшего труда убедить ее, что все это был только сон. Да ведь и сон этот был так связен и столькими нитями соединялся с обыденными вещами!

Чем менее развит ум ребенка, тем меньше его смущает неправдоподобие. Мне было года четыре или пять; я только что потерял старшего брата, который был на шесть лет старше меня.

У этого брата были красивые солдатики и другие игрушки, которыми он чрезвычайно дорожил и которые заботливо прятал от меня подальше. Я совсем не помню ни его болезни, ни его смерти. Помню лишь, как однажды спросил у матери, где Анри, и она ответила, что он в деревне. Я мечтал о тех чудесных игрушках, которые благоговейно убрали в шкаф. И вот однажды ночью мне приснилось, что в этом шкафу лежат марионетки, арлекины (я и сейчас их вижу), умеющие говорить! Проснувшись, я стал их выпрашивать, умолял, настаивал. Напрасно мать пыталась растолковать мне нелепость этой выдумки; для меня это был не сон, и я так и остался в убеждении, что она отказывает мне затем, чтобы соблюсти порядок, заведенный братом, и что пользоваться этими чудесами мне навсегда запрещено.

Итак, иллюзия рождается из живости и относительной логичности впечатлений. Нет нужды отмечать, что для того, чтобы иллюзия сохранилась и после пробуждения, нужны еще и другие условия. Если бы моя малышка увидела игрушку в какой-нибудь вымышленной комнате, а не на чердаке, который знала до мелочей; если бы она говорила не с бабушкой, а с незнакомым человеком или если бы видела бабушку не с ее обычным лицом и не в обычной одежде, она легко поняла бы, что ее обманул сон. Значит, для того чтобы ошибка стала стойкой, нужно по меньшей мере, чтобы мельчайшие подробности сна согласовались с действительностью и с правдоподобием; нужно, кроме того, чтобы они ложились на фон нашей повседневной жизни. А ведь, как мы видели, сцена сновидения вырисовывается на смутном и однообразном фоне; она обособлена. Таковы картины ранних школ живописи, написанные на золоте, или те танцующие группы, что украшают стены домов Помпеи и о которых не скажешь, в воздухе они или на земле.

Когда я прогуливаюсь по улицам города, где живу, я испытываю впечатления, которые отчасти всегда одни и те же. Если я встречаю там знакомого и заговариваю с ним, эта встреча и этот разговор связываются с этими столь привычными впечатлениями и получают от них печать подлинности. Это происшествие, так сказать, вписано в мысленный план Города. Конечно, подлинность эта зависит еще и от других вещей, и читатель сам прекрасно восполнит неполноту моего изложения. Нужно, в частности, чтобы я видел, как этот друг подходит, видел, как он удаляется, чтобы он был и оставался похож на самого себя, чтобы он поступал сообразно своему характеру и своим связям; иначе я легко заподозрю, что видел его во сне.

Но если ни одного из этих неправдоподобий нет, могу ли я убедиться иначе, чем по свидетельствам со стороны, что происшествие не было действительным? Если, например, мне снится, что я оставил зажженной свою рабочую лампу и что, встав и погасив ее, снова лег в постель, — то коль скоро в картинах, возникших перед моим умом, не было ничего необычного, если комната имела свой обычный вид и если лампа из сна во всем походила на ту, которой я пользуюсь, — как смогу я по пробуждении удостовериться, что все это было чистой иллюзией? Как я смогу это сделать, разве только кто-нибудь, бодрствовавший рядом со мной, подтвердит мне, что я не вставал, или у меня найдутся неопровержимые основания думать, что я погасил лампу, ложась спать?

Но чаще всего отличительным признаком сновидения служит пробуждение. Перретту и г-на Жуайеза вырывает из их грез случай: случай, который прогоняет сон, — это пробуждение. Самое правдоподобное сновидение, в сочетания которого входит одна лишь действительность, обнаруживает свою обманчивость,

как только я вижу себя «совсем раздетым в своей постели». Я считаю иллюзией все, что произошло между минутой, когда я лег, и минутой, когда я просыпаюсь. Исключение составляют лишь особые случаи вроде того, который я только что описал. Но заметим, что это действие, обособленное посреди ночи, то есть не связанное ни с тем, что за ним следует, ни с тем, что ему предшествует. И все же эти исключения, которые встречаются не только в теории, вынуждают нас ответить отрицательно на вопрос: есть ли у нас по отношению к сновидениям признак достоверности?

Нет, его нет. Не существует непогрешимой и всеобщей приметы, которая позволила бы нам с безусловной уверенностью утверждать, что сон был сном и ничем больше. Но беда в этом невелика, лишь бы у нас был признак бодрствования — признак, который удостоверял бы нас, когда мы к нему обращаемся, что мы не видим сна. Итак, когда мы бодрствуем, можно ли сомневаться в том, что мы бодрствуем?

Известно, что случилось с Созием. Меркурий хочет отнять у него имя и самую личность. Это притязание его возмущает:

...Я не могу исчезнуть ради тебя
И слушать речь, что явному противна.
Иль в силах ты лишить меня того, что я есть?
Могу ли перестать я быть собой?
Да слыхано ли где о чем-нибудь подобном?
И можно ль отрицать сто явственных улик?
Мне снится? Или я сплю?
Иль ум мой помутила сильная тревога?
Не чувствую ль я ясно, что не сплю?
Не в здравом ли рассудке я?

Не мой ли господин Амфитрион велел мне
Прийти сюда, к Алкмене, к своей жене? И т. д.

Так Созий перебирает ход событий и находит в нем логику действительности. Но, видя, что Меркурий знает обстоятельства, которые, как он думал, известны лишь ему одному, он теряет уверенность:

Он прав. Не будучи Созием,
Нельзя всего, что он сказал, узнать;
И в изумлении, что душу мне объемлет,
Я начинаю в свой черед ему чуть-чуть верить.

Меркурий умножает доказательства, открывая все более сокровенные подробности. Изумление Созия удваивается:

Ни словом он не лжет в ответах всех своих;
И сам в себе я начинаю не на шутку сомневаться.
Уж силою он Созий надо мною,
А там, пожалуй, станет им и по рассудку.
Но все ж, когда себя ощупаю и вспомню,
Мне кажется, что я — это я.
Где мне найти надежный свет,
Чтоб разобраться в том, что вижу?

Известно, на каком выводе останавливается его ум:

Не смею отрицать по доводам, что ты привел,
Что ты — Созий, и я на то даю свой голос.
Но если ты — он, скажи, кем быть велишь мне?
Ведь должен же я быть хоть чем-нибудь.

История человека, который доходит до сомнений в собственной личности, разыгрывалась на множество ладов. У каждой

местности, можно сказать, своя легенда. В Льеже это башмачник, которого однажды вечером монахи подбирают мертвецки пьяным на углу улицы и уносят в свой монастырь. Его моют, бреют, выстригают ему тонзуру, облачают в рясу и укладывают в келье. Утром, когда он просыпается, братия приходит засвидетельствовать ему почтение и справиться о его здоровье. Бедняга тщетно пытается собраться с мыслями. Его стараются уверить, что вся его прежняя жизнь — сон. Он не может решиться этому поверить, но и не знает, как оказался в этом одеянии и в этой постели. Ему подают зеркало — он не уверен, что узнает себя. «Ступайте, — говорит он наконец одному из присутствующих, — ступайте к мосту и посмотрите, сидит ли Жиль-башмачник в своей лавчонке. Если его там нет — значит, это я; а если он там, то пусть меня черт возьмет, если я знаю, кто я такой»[1].

[1] Шекспир вывел тот же сюжет на сцену в прологе «Укрощения строптивой». *Кристофер Слай.* Я лорд? Или мне снится сон? Или мне снилось до сего дня? Я не сплю: я вижу, слышу, говорю; я чувствую эти нежные запахи… Клянусь жизнью, я и вправду лорд, а не медник и не Кристофер Слай.

Пусть мне не говорят, что все это басни и что о баснях не рассуждают. Мой довод серьезен. Сделаем скидку на неправдоподобие завязки или на комическое преувеличение — Созий и Жиль все же хорошо изображают замешательство ума, который рассуждение заставляет сомневаться в том, во что он не может не верить. Я, разумеется, не сомневаюсь в своей личности; но ведь есть душевнобольные, которые воображают себя китайским императором, и другие, которые помнят, будто были Людовиком XVII. Не во власти ли я подобного безумия? Действительно ли я тот, кем себя считаю? Словом, каков признак разумного состояния? На этот вопрос мы и ответим.

Глава IV. Вера душевнобольного в свои заблуждения. Умозрительное сомнение. Безусловный признак научной достоверности

Галлюцинация: представления душевнобольного так же ярки, как его восприятия; его иллюзии законны. — Галлюцинация может иметь причиной также ослабление способности восприятия. — Признаком, по которому различают представление и восприятие, служит, как правило, свидетельство других людей. Критика этого признака. — Различие между объективной и субъективной достоверностью. — Достаточный и безусловный отличительный признак обдуманной достоверности — умозрительное сомнение.

Мы только что видели, в чем сходны и в чем различны сновидение и грезы наяву. И там и тут основная ткань — ряд более или менее связных представлений. Только в грезах наяву они сосуществуют с определенными восприятиями, которые, хотя и ослаблены нашей невнимательностью, все же своей четкостью и рельефностью дают заметить их стертость и плоскость. Во сне же, напротив, те восприятия, какие у нас могут быть, так смутны и темны, что наши представления по контрасту обретают блеск, а невозможность провести сравнение приводит к тому, что мы, повинуясь в этом врожденной и неодолимой привычке, принимаем предметы своих мыслей за внешнюю действительность.

Безумию, о котором я скажу несколько слов, с той точки зрения, на которой я стою, отведено место между сновидением и грезами наяву: представления душевнобольного, поскольку он болен, так же ярки, как его восприятия.

Вспомним славную Перретту, которая обольщается самыми радужными видами на будущее и уже видит себя владелицей

коровы с теленком. Предположим, что добрая женщина воображает, будто и в самом деле ими владеет, — и перед нами окажется бедная больная, страдающая галлюцинациями. Обманываемая сразу всеми чувствами, она не только будет видеть, как они пасутся, но и слышать, как они мычат; она будет доить корову в воображаемые ведра и расставлять в несуществующей молочной кринки с молоком и куски масла, которых тоже не будет на свете.

Может, однако, случиться, что ошибка гнездится в одном только зрении. Тогда несчастная никогда не сумеет дотронуться до своей скотины, которая будет убегать при ее приближении. В своем безумии она скажет себе, что ее мучает лукавый дух и мешает ей исполнять обязанности фермерши; в конце концов она найдет этому объяснение, правдоподобное в ее глазах, и бог знает, куда может завести ее логика предположений.

Известен род зрелищ, весь интерес которых основан на оптическом обмане. На сцене движутся настоящие актеры, а также неуловимые тени, тела которых не оказывают никакого сопротивления шпагам и дубинам, которые внезапно появляются и так же внезапно исчезают. Допустим на минуту, что актер может стать жертвой этой сценической игры. Перед ним будет лицо, которое он видит, но до которого не может дотронуться. Скажет ли он себе, что это иллюзия? Возможно. Но какое чувство обмануто? Зрение ли, которое видит то, чего нет, или осязание, которое не осязает того, что есть? Опираясь на опыт, он, может быть, в конце концов убедит себя, что ошибаются его зрительные восприятия; но может быть и так, что он потеряет от этого рассудок.

Несчастный больной, который думает, что живот у него полон лягушек или жаб, и который, когда вы пытаетесь излечить его

доказательствами, хватает их руками, показывает их вам или бросает вам в лицо, без сомнения, жертва печальной иллюзии; но как могла бы она не возникнуть? Разве основания нашей веры в действительные вещи иной природы?

Отсюда вывод, на первый взгляд парадоксальный, но тем не менее совершенно строгий: человек, страдающий галлюцинациями, подчиняется естественному закону, когда верит в истинность фантастических образов, которые преследуют его ум. Он ведет себя в этом точно так же, как я, который в эту минуту глубоко убежден, что у меня в руке перо, передо мною бумага и я записываю на ней плоды своих размышлений. И насколько я счел бы бессмыслицей попытку кого бы то ни было убедить меня, что я сплю, настолько же и он должен считать нас неудачными шутниками, когда мы отрицаем и хотим заставить его усомниться в существовании того, что он видит, что он слышит, к чему прикасается каждый день.

«Послушаем, — говорит Альбер Лемуан[2], — ответ больной, которой врач хотел доказать ее ошибку. „Как узнают предметы? Потому что их видят и осязают. А я вижу, слышу и осязаю демонов, которые находятся вне меня, и самым отчетливым образом чувствую тех, что сидят у меня внутри. Почему вы хотите, чтобы я отвергла свидетельство своих чувств, когда все люди ссылаются на них как на единственный источник своих знаний?“ А когда ей приводили в доказательство пример других больных, которых она сама признавала заблуждающимися: „Что видит мой глаз, то слышит мое ухо, то осязает моя рука. Больные, о которых вы мне говорите, ошибаются: одно их чувство опровергается другим; на моей же стороне свидетельство всех“. Если, вполне бодрствуя, — продолжает автор, — душевнобольной верит в действительность образов, которые видит, или звуков, которые слышит, то именно

потому, что он бодрствует, и по этой причине он не может сомневаться в истинности свидетельства своих чувств».

[2] Указ. соч., с. 114. Цитата из третьих рук: согласно примечанию, она взята из Бейля, *Revue médicale*, 1820.

Как и разбор сна, разбор безумия приводит нас, стало быть, к тому, чтобы разделить явления, которые оно представляет, на две части и отличить болезненное от того, что вытекает из него естественно в силу нашего прежнего опыта, наших умственных привычек и наших инстинктов.

Спящий видит порой, как палка оживает, как мебель говорит, как человек принимает вид птицы. Поэты, эти добровольные мечтатели, населяют леса заколдованными деревьями, которые истекают кровью, когда их ударишь, которые находят слова угрозы или мольбы, которые внезапно превращаются в чудовищ или в женщин, чтобы устрашить вас или растрогать. Известно, в каких животных Цирцея превратила спутников Одиссея; а Тассо и Ариосто наделили волшебников самым грозным могуществом.

Спящий обманут на время; поэты обмануты по доброй воле. Но есть и обманутые невольно и неисправимо, которые принимают ветряные мельницы за великанов, Мариторнес — за принцесс[3], а марионеток — за людей из плоти и крови. Причина их иллюзий нам известна: пустые образы их мозга поражают их с той же живостью, что и образы действительные. А если они не сомневаются в истинности последних, почему бы им сомневаться в истинности первых?

[3] «Дон Кихот», гл. XVI. Надо перечитать эту восхитительную главу, где смешение вымысла и действительности так хорошо вводит в заблуждение славного Рыцаря Ламанчского.

В комнате, где я пишу эти строки, на стене напротив меня висят гравюры. Я совершенно уверен, что они там. И вот если бы над этими гравюрами или рядом с ними я каждый день видел другие, которых на самом деле не было бы; если бы мне казалось, что я их трогаю, снимаю, обметаю с них пыль; если бы я думал, что помню, откуда и как они ко мне попали, — я должен был бы по логике вещей верить в их существование. Я бодрствую и чувствую себя бодрствующим, когда вижу первые, — почему я должен думать, что вижу сон, когда вижу вторые? Разве порукой моей ошибочной вере не служит моя вера законная? Уверения близких, что это бредовая мысль, могли бы на время внести некоторое смятение в мой ум; но я куда легче и куда разумнее убедил бы себя, что они сговорились посмеяться надо мной, чем усомнился бы в постоянном свидетельстве своих чувств[4]. Если я не знаю, как эти картины попали сюда, я скорее поверю в изъян памяти, чем в непрерывную ошибку. Если же, наконец, они не дадут себя снять, меня охватит сильная тревога. Я скажу себе, что я во власти дурного сна; если я вырос в старинных поверьях, я заподозрю вмешательство нечистой силы; если же, наконец, я знаю, потому что видел или читал, что подобные иллюзии могут быть следствием болезни, я пойму, в каком я состоянии; вероятно, я буду этим мучиться, но может статься и так, что я с этим примирюсь. Известны бездна Паскаля и преисподняя Декарта. Именно на этом выводе я почти наверное остановлюсь, если видения преходящи, перемежаются или возвращаются через определенные сроки, потому что в этом случае оснований сомневаться больше, чем оснований верить.

[4] «Тщетно поборовшись с этой силой, которая над ним господствует, он (больной) чаще всего приходит к ошибочным объяснениям; он приписывает, например,

осаждающие его мысли постороннему существу» (Байярже, цит. по: А. Мори, указ. соч., гл. VII, с. 158).

Я только что бегло рассмотрел различные виды галлюцинаций — от явного безумия до самого простого из душевных расстройств. Заметим, что иллюзии в них всюду имеют свои основания и что человек, страдающий галлюцинациями, совершает сознательный акт именно потому, что во всех прочих отношениях он сообщается с внешним миром. Это и придает им ту связность, какую очень редко встретишь в сновидениях.

Но есть душевные болезни совсем иной природы. Больные слабоумием и некоторые больные меланхолией, состояние которых зависит главным образом от малокровия или истощения мозга, имеют мысли, которые причудливостью ничуть не уступают нашим снам. Садовник, несущий вязанку ивовых прутьев, превращается в их глазах в жандарма, который ведет их врага в тюрьму. Я знал одну молодую мать, которая, ослабев от следовавших одни за другими родов, на время лишилась рассудка. Она воображала, например, что цыплята, которых кухарка связывала для жаркого, — ее собственные дети, и не было ничего мучительнее, чем видеть и слышать ее материнскую тоску. Здесь было одно из тех наложений образов, о которых я говорил выше. Объяснение этих и подобных случаев нужно искать в оцепенении восприимчивости, что сближает такого рода болезни со сном.

В мою задачу не входит исследовать возможные причины безумия. Однако вопрос можно рассмотреть с точки зрения чисто теоретической и чисто психологической. Из сказанного до сих пор следует, что галлюцинации могут зависеть самое большее от двух причин. Либо они происходят оттого, что ошибочные представления приобрели яркость, сравнимую с яркостью восприятий; либо, напротив, оттого, что способность восприятия

ослабла настолько, что действительные образы стали так же серы и тусклы, как вымышленные. Возможно, что часто обе причины действуют одновременно; этот вопрос мне рассматривать не нужно. Но как бы то ни было, к блужданиям мысли душевнобольного можно применить определение, которое Аристотель дает сновидениям, несколько его расширив, и сказать, что они свойственны душевнобольному, поскольку он болен. Между представлениями душевнобольного и представлениями здорового человека, стало быть, нет различия в психологическом отношении; различие это физиологическое, а точнее — чисто патологическое.

Перехожу теперь к другим вопросам, которые мне остается рассмотреть. Первый из них — по какому признаку можно на практике отличить представление от восприятия, коль скоро они одинаково ярки. Ответ очень прост. Представление — дело сугубо личное, восприятие общее для всех. Гравюры, что висят в моей комнате, все видят, все могут их потрогать; те, что существуют в моем воображении, недоступны никому, кроме меня.

Итак, в области восприятий и представлений свидетельство других людей — единственный признак, который может нами руководить.

Но этот признак, к несчастью, не непогрешим. Не случается ли порой, что целые населения видят чудесные явления? В своей столь поучительной книге «Об изучении природы»[5] г-н Узо, бывший директор Брюссельской обсерватории, упоминает надгробные светильники, которые римляне оставляли в своих гробницах и которые, как утверждали многочисленные свидетели, еще горели, когда гробницы вскрывали. Вот факт совершенно невозможный и к тому же очень легко проверяемый. И что же мы читаем в протоколах вскрытия одной римской

гробницы на острове Низида близ Неаполя, собранных Портой[6]? «Люди почтенные, уважаемые, разных занятий, — говорит г-н Узо, — между прочим один известный судья, удостоверяют, будто видели своими глазами, и притом самым подлинным и безоговорочным образом, химические чудеса, которые были для них лишь утраченной тайной». В разгар XVIII века чудеса дьякона Пари подкреплены такой совокупностью доказательств, на какую с трудом могли бы опереться самые достоверные исторические события. Наконец, что еще удивительнее, не видим ли мы в наши дни, как философы, ученые, естествоиспытатели — Фехнер, Целльнер, Ульрици, Уоллес — дают провести себя спиритическим фокусам некоего доктора Слейда?

[5] Брюссель, 1876, с. 99.

[6] *Magia naturalis*, большое издание 1589 г., кн. XII; цит. по г-ну Узо.

Однако, вообще говоря, мысли душевнобольного, поскольку он болен, не передаются другим, они не умеют навязать себя другим; потому он всегда склонен считать безумными своих товарищей по несчастью, а людьми недальновидными или ослепленными — посетителей со стороны. И все же дальнейшее размышление снова повергает нас в недоумение. Скольких гениальных людей называли безумцами те, кто был далеко не так мудр, как они! Если вспомнить лишь два примера из современной истории, — сколько знаменитых особ поначалу не хотели верить в будущее железных дорог и даже в самую возможность их устройства? И не совсем ли недавно ученые общества без всякого почтения отзывались о первых известиях об изобретении телефона? Если лечебницы дают приют изобретателям вечного двигателя и других физически невозможных машин, то не закрывались ли их двери порой и за возвышенным мечтателем? Отсюда поговорка, нелепая

по существу, но верная для большинства, что у гения и безумия немало точек соприкосновения.

Мы еще не покончили с трудностями. Случалось, что душевнобольным удавалось заставить других душевнобольных принять самые неразумные притязания. Г-н Спринг, автор «Симптоматологии, или Трактата о болезненных явлениях», рассказывал мне однажды, что знал в доме для душевнобольных некоего Бога Отца, который приобрел себе известное число почитателей. И в самом деле, разве не видим мы, как целые народы, обширные человеческие общества верят в непогрешимость человека, которого этим преимуществом в конечном счете облекли другие люди?

Все хорошо обдумав и взвесив, неизменно и неизбежно приходишь к тому выводу[7], который я высказал в другом месте: если, с одной стороны, истина существует, то, с другой стороны, безусловного признака истины не существует; нужно различать субъективную достоверность и объективную достоверность; наше убеждение, как бы твердо оно ни было, может быть неосновательным; истина для нас может иметь лишь совершенно временный характер.

[7] См. мою «Научную логику», Брюссель и Льеж, 1865, и мою «Алгоритмическую логику», там же, 1877. Да будет мне позволено по поводу этого места упомянуть интересные и замечательные статьи г-на Полана, напечатанные в «Философском обозрении» (июль, август и сентябрь 1879 г.). Особенно в последней из них он с разных сторон касается некоторых частных вопросов, которые я только что рассматривал, и оказывает мне честь, ссылаясь на меня, между прочим, по поводу теории достоверности (сентябрьский выпуск, с. 302). Осмелюсь ли привлечь его внимание к следующим строкам, обдуманным и написанным задолго до того, как я познакомился с его работой, и в которых я пытаюсь примирить научный скептицизм с практическим догматизмом, которого никто не может избежать?

Единственное основание, по которому мы отвергаем какое-либо положение, выводится из противоречий между ним и другими

положениями, которые мы считаем истинными. А так как число этих последних непрерывно растет, ничто не ручается нам, что когда-нибудь не возникнут новые противоречия; история наук слишком приучила нас к такого рода неожиданностям.

Но если недоверие к нашему знанию оправдано слабостями наших умственных способностей, то, с другой стороны, именно здесь мы наконец находим истинный пробный камень разумного состояния. Как и всякое другое явление, заблуждение имеет свою причину, а значит, оно объяснимо и в известном смысле логично. Причина эта — неполный взгляд на вещи[8]. Исправиться — значит увидеть больше и лучше. Конечно, человеческий ум не обязан видеть все, но ему следовало бы остерегаться отрицать существование того, чего он не видит. А именно это отрицание — простительное, но неосторожное — и есть источник всех наших ложных суждений.

[8] См. мою «Алгоритмическую логику», часть 4.

Раз признав это несовершенство нашей природы, никому не подобает питать безусловного и безоговорочного научного убеждения относительно какой бы то ни было истины, какова бы она ни была.

Конечно, если речь идет о субъективной вере, мы не можем отказать в ней тому, что на время перед нами утверждается, даже заблуждению. Эта вера, обыденная и чисто практическая, исключает колебание.

Но если речь идет об обдуманном согласии, в нем всегда есть место для сомнения, и мы должны оставлять ему место. Нет такого положения, как бы достоверным мы его ни считали, которое не могло бы стать предметом сомнения. Это сомнение, прекрасно уживающееся с достоверностью, и есть умозрительное

сомнение. Именно умозрительное сомнение высказывал Декарт, когда, сочиняя свои «Размышления», спрашивал себя, не видит ли он сна.

Сомнение, как видим, не только совместимо с сознательным и обдуманным убеждением, но и возможно только вместе с ним и предполагает его. Если бы Декарт не бодрствовал вполне и не был совершенно уверен, что бодрствует, он не поставил бы вопроса в том смысле, какой ему придавал. Созий и Жиль-башмачник не усомнились бы в себе, не будь они в здравом уме.

Умозрительное сомнение, в самом деле, — не искреннее сомнение, не настоящее сомнение, какое много раз испытывает человек бодрствующий, так же как и спящий, и душевнобольной. Это сомнение чисто теоретическое: оно касается вещей, в которых, по сути, нисколько не сомневаются, и оправдывается общими и высшими соображениями. Это сомнение, которым чувство не обмануто, есть преимущество ума, вполне владеющего своим разумом, и в то же время достаточный и безусловный отличительный признак обдуманной достоверности.

Этот вывод на первый взгляд странен, а некоторым умам покажется безотрадным. Он может послужить новой темой для отчаявшихся и приводящих в отчаяние философов, которые воспользуются им, чтобы сделать из человека Тантала, жаждущего истины. Не такова наша участь. Погруженным в неисчерпаемый океан истины, нам не запрещено освежить в нем губы.

Конечно, если смотреть на всякую человеческую науку как на собрание истин, заблуждений и неясностей, поставленных рядом и не влияющих друг на друга, и если, следовательно, ставить перед разумом цель непрестанно увеличивать сумму истинного и сужать поле заблуждения и неизвестного, — то с того дня, как

замечаешь, что ничего достоверного знать нельзя, остается предаться унынию и желать уничтожения мысли.

Но успокоимся и утешимся. Если безусловная достоверность от нас ускользает и будет ускользать всегда, то достоверность относительная и бесконечно возрастающая, единственно доступная нашему конечному разуму, должна удовлетворить наше честолюбие и способна его удовлетворить. Истина едина. Нет истин — есть только истина. Строго говоря, слова «частная истина» заключают в себе неточность и своего рода бессмыслицу.

Все наши науки, даже самые положительные, дают перевод истины отчасти сомнительный, отчасти ошибочный, отчасти неполный. Так, с одной стороны, не дошли ли даже в последнее время до того, что стали оспаривать прочность оснований геометрии? Не подвергли ли снова сомнению основы логики?

С другой стороны, думать, что положение, которое само по себе может быть истинным, тем не менее совместимо с положением, ложности которого не видишь, — значит не постигать первое в его подлинной сущности. Выводить из начал механики, что вечное движение осуществимо, — значит, по сути, неявно подменять их другими, менее верными началами, хотя формулировка их остается прежней. Наконец, не извлечь из положения всех следствий, которые оно в себе таит, — значит не понимать всего его значения. Одинаково ли понимают Лукреций, Паскаль, Лавуазье, Майер аксиому, что ничто не возникает из ничего и ничто не обращается в ничто?

Истина всегда является нашим глазам лишь закутанной с головы до ног, и, как с саисской богини, ни одна рука человеческая не снимет с нее покрова. Но покров этот день ото дня становится прозрачнее, потому что наш взгляд становится все проницательнее и вернее.

Итак, истина не из тех вещей, которые можно завоевывать, присоединяя их к себе по частицам; она скорее из тех, полное обладание которыми нам не дано, но которым следует поклоняться и с которыми можно соединяться все теснее, умножая точки соприкосновения и узы привязанности. Остережемся лишь самонадеянности и упоения первых взглядов и первых объятий. Если начало знания в том, чтобы знать, что ничего не знаешь, не будем забывать и того, что никогда не знаешь всего ни о чем. Скромность, осторожность и сомнение — вот приметы истинного знания. Не самодовольство ли — обычный спутник невежества и глупости?

ОТНОШЕНИЕ СНА И СНОВИДЕНИЙ К ТЕОРИИ ПАМЯТИ

✦

Предварительная глава. Разграничение задачи

Необходимость этого разграничения. — Сон о ящерицах и об Asplenium ruta muraria. Составные части этого сна. — Вопросы, которые он поднимает: бесконечно долгое сохранение впечатлений; способ их воспроизведения.

Из многочисленных вопросов, связанных со сновидением и попутно с безумием, я разрешил два. Это, без сомнения, не самые трудные, но они основополагающие, и начинать надо было с них. Ведь не будем забывать: тот, кто видит сон, считает себя бодрствующим, душевнобольной считает себя разумным.

Итак, прежде всего нужно было найти причину, по которой спящий и душевнобольной становятся жертвами своих пустых вымыслов. Иллюзия основана на привычке предполагать, что всякому внутреннему образу, обладающему известными признаками порядка, постоянства и яркости, соответствует внешний предмет.

Во-вторых, оставалось определить признак бодрствования и разумного состояния. Этот признак — единственный, всеобщий и непогрешимый — я, как мне кажется, нашел в умозрительном сомнении. Сомнение такого рода укрепляет основания знания: так тень заставляет сиять свет. С ним человеческий ум идет к науке осторожным, спокойным и твердым шагом. Без него он впадает из крайней гордыни в крайнее уныние и в конце концов

ищет прибежища в скептицизме или в мистицизме, которые оспаривают друг у друга право приютить его отчаяние.

Раз эти логические трудности устранены, пора бы заняться содержанием сновидений — новой задачей, чрезвычайно обширной и в настоящее время неприступной со всех сторон сразу. Если читатель вспомнит шесть рубрик, по которым г-н Модсли распределяет причины, определяющие характер сновидений[9], он заметит, что пять последних чисто физиологические и что лишь первая — «прежний опыт, личный или унаследованный от предков» — охватывает составные части психологические. А если о физиологии вообще можно сказать, что она еще в младенчестве, то это особенно верно, когда речь идет о физиологии сна. Нетрудно угадать, почему это так, но я не хочу уклоняться с пути.

---

[9] См. выше, Введение, главу I.

Впрочем, и помимо этого соображения, поскольку мои познания в физиологии, к сожалению, весьма недостаточны, я не мог бы, встав на точку зрения этой науки, рассмотреть вопрос со знанием дела и самостоятельно. Поэтому я рассмотрю его с психологической стороны, ограничиваясь в остальном общими размышлениями.

Даже в этих пределах вопрос так обширен и многосложен, что его необходимо сузить еще больше. В самом деле, невозможно предпринять основательное изучение роли «опыта, унаследованного от предков». В этом, как и во многом другом, приходится ограничиваться изложением начал. Этим я и удовольствуюсь.

Остается «личный опыт». Здесь новое требование. Это выражение очень растяжимо и охватывает многое. Поэтому

прежде чем ставить вопросы, необходимо уточнить и очертить предмет исследования. С этой целью я счел за лучшее связать их с одним необычным сном, который я видел более двадцати лет назад и некоторые из самых замечательных составных частей которого случай открыл мне восемнадцать лет спустя.

Чтобы стала понятна часть этого сна, я вынужден, как г-н Мори, посвятить публику в свои вкусы, привычки и причуды.

Я всегда очень любил животных, даже самых скромных и самых неприглядных. Эта склонность идет у меня с детства. Долгое время, и даже еще долго после того, как мне приснился этот сон, у меня был маленький зверинец из ящериц, веретениц, ужей, лягушек, жаб и даже моллюсков, которые все были ручными, прекрасно меня знали, ничуть не пугались моего приближения и без опаски давали брать себя в руки.

Я собираюсь когда-нибудь опубликовать кое-какие наблюдения, собранные мною в то время. Многие удивятся, узнав, что некоторые существа, например прудовики, которые слывут неспособными рассуждать, такой славы не заслуживают. В частности, у меня были две лягушки, которые пользовались некоторой известностью в кругу моих друзей. Я часто приносил их к ним, и там они давали представления, в которых блистали своей привязанностью ко мне и своим умом.

Я самым заботливым образом ухаживал за всем этим маленьким народцем и считал своим настоящим долгом доставлять этим бедным животным как можно больше радостей, раз уж я отнял у них свободу. Когда с ними случалась беда, я бывал глубоко огорчен; и еще сегодня воспоминание о прекрасной большой серой ящерице, которая в обеденный час сама забиралась ко мне в рукав и которую мой отец однажды нечаянно раздавил, пробуждает во мне тягостное чувство. Были у меня и

птицы — канарейки, чижи, снегири, щеглы, — свободно летавшие по дому. Однажды ночью негодная кошка устроила среди них побоище. Горе мое было так сильно, что с тех пор я отказался от такого рода развлечений.

Читатель, конечно, сочтет часть этих подробностей лишней — и, в сущности, будет прав. Но мог ли я упустить такой прекрасный случай посвятить несколько слов сожаления этим скромнейшим друзьям, которые никогда меня не обманывали?

Перехожу к своему сну. Это первый сон, который я надумал записать, намереваясь сообщить его научному журналу, о выходе которого тогда объявляли. Не знаю, по какой причине я не исполнил своего намерения. Особенно поразило меня тогда, с одной стороны, то, что мне снился запах, а с другой — сопоставление, которое я, еще во сне, провел между одним происшествием моего сна и прочитанным накануне. Сегодня я подробнее разберу то, что в то время не могло стать предметом моих размышлений. Я воспроизвожу почти дословно — увидим, почему, — рассказ в том виде, в каком записал его на следующий день:

> Это было в конце сентября 1862 года. Вечером, перед тем как лечь, я прочитал у Брийя-Саварена его главу о сновидениях. По мнению остроумного советника, два наших чувства — вкус и обоняние — очень редко доставляют нам впечатления во время сна, и если снится, например, цветник или трапеза, то видишь цветы, не чувствуя их аромата, и кушанья, не ощущая их вкуса. Я не стал больше раздумывать об этом, лег и вскоре уснул.
>
> Не могу сказать, было ли это около двух или трех часов ночи, но я вдруг увидел себя посреди своего двора, полного снега, и две несчастные ящерицы, завсегдатаи дома, как я называл их во сне, наполовину погребенные под белым покровом, лежали, оцепенев,

в некотором отдалении от своей засыпанной норки. Почему эти зверьки покинули свое жилище? На этот вопрос, который я себе задал, я вскоре нашел правдоподобный ответ. Утром, должно быть, светило яркое солнце; занятные пресмыкающиеся высунули нос в окошко и, привлеченные дневным светом и теплом, отважились выйти наружу. Потом небо вдруг потемнело, разразилась снежная гроза (*sic*) и отрезала обеим неосторожным путь к отступлению. Я отогрел их в руках и, расчистив их убежище, посадил их у входа, позаботившись прежде насыпать в глубину норки несколько обрывков *Asplenium ruta muralis*, который рос на стене.

Здесь я на минуту прерву рассказ. Всякий мог заметить на старых стенах или скалах прелестный маленький папоротник с очень тонко рассеченными листьями, похожими на листья руты: это *asplenium ruta muraria*, или стенная рута. Я не ботаник и запомнил лишь немного названий растений. Этого названия я не знал. И вот, проснувшись, я записал его с небольшим изменением, как только что было видно, и поначалу решил, что его выковало мое воображение. Наведя справки, я, к великому своему удивлению, узнал, что название это настоящее и что растение это действительно растет на стенах. *Asplenium* моего сна не вполне походил на растение, носящее это имя. Это был, конечно, папоротник, но листья его были ярко-вишневого цвета и рассыпались в руке, как сухие лавровые листья. Теперь продолжаю свой рассказ.

Ящерицы моего сна без памяти любили это растение, я это знал, и я с удовольствием увидел, как два моих милых питомца медленно проскользнули в свое жилище. От моих забот меня отвлекла проказа моего друга В… В… Он бросил в меня из окна своей комнаты, выходившего на мой двор, камешек, который едва в меня не попал. Я проворно вскарабкался по стене к нему, запер его

в шкаф и спустился так же легко, как поднялся. Каково же было мое удивление, когда я нашел двух своих сотрапезников совсем приободрившимися: с сытым видом и взглядом блаженного благодушия они созерцали двух других ящериц, которые наперебой уплетали оставленные ими обрывки *asplenium*! Никогда я не знал в этой норе других ящериц, кроме тех, которым только что, вероятно, спас жизнь. Справедливо заинтригованный столь необыкновенной встречей, я захотел выяснить, откуда могли выбраться пришельцы, и пошел по легким следам, отпечатавшимся на снегу. Как же удвоилось мое удивление при виде пятой ящерицы, направлявшейся к остальным! — Дальше шестая держала путь туда же. И, оглядев все поля вокруг — мы теперь в полях, — я увидел, что они покрыты ящерицами, которых всех тянуло к одному и тому же средоточию. С края горизонта тянулось длинное шествие этих пресмыкающихся, будто совершавших паломничество; и было прелестным зрелищем видеть волнообразные движения их хвостов… Какова была причина этого переселения? Я вернулся к *asplenium*, который на этот раз рос уже не в моем дворе, а густыми кустиками на поляне посреди леса, и заметил, что он издает нежный запах, который, впрочем, доходил до моих чувств, лишь когда я растирал растение между пальцами. Тогда я подумал, что, что бы ни говорил Брийя-Саварен, запахи могут сниться…

Вот мой сон. Часть его легко восстановить из известных действительных фактов. Найдут естественным, зная мои любимые развлечения, что в нем появляются ящерицы и что я сочувствую их злоключениям. Двор — действительно двор дома, где я тогда жил; но само собой разумеется, что жили мои ящерицы не там. Я доискиваюсь причины, которая приводит в движение других ящериц. Это тоже согласно с моими привычками. Меня всегда занимало, куда и зачем ходят животные; я люблю

угадывать побуждения их поведения и наблюдать их движения, чтобы проверить, верны ли мои догадки. Я несколько раз удивляюсь; со мной это случается довольно часто. Я из тех, кто и наяву охотно удивляется всему. Наконец, я вспоминаю прочитанное вечером у Брийя-Саварена, и у меня есть как бы сознание, что я вижу сон. Это свойство видеть во сне, что видишь сон, кажется на первый взгляд довольно необыкновенным; однако именно это случалось со мной некогда несколько раз и случается сегодня все чаще с тех пор, как я занимаюсь сном и записываю свои сны. Я уже приводил подобный случай[10]. Несколько человек, которых я расспрашивал, уверяли меня, что много раз испытывали то же самое. Эти поступки, чувства, размышления принадлежат, как я сказал выше[11], не тому «я», которое видит сон, а повседневному «я». Объяснение этого явления я дам дальше.

[10] См. выше, Введение, главу II.

[11] См. выше, главу II части о достоверности.

Есть одна подробность моего сна, которая не оставила никакого следа в моей памяти. Это та, что касается моего друга B… B… Какое имя скрывают эти инициалы? Сколько я ни перебираю своих друзей того времени, мне не удается его найти.

Все это не представляет никакой трудности. Но *asplenium ruta muralis*, или *muraria*, долго оставался для меня неразрешимой задачей. Вот довольно варварское название растения, которого я, конечно, не мог выдумать — ибо такое совпадение было бы, можно сказать, чудом, — название, которое всплывает в моей душе во время сна и происхождение которого, проснувшись, она, как сама убеждается, совершенно потеряла из виду. Отметим

мимоходом замену варваризма *muraria*, освященного наукой, латинским словом *muralis*. Это — дело филолога.

Только два года назад я нашел разгадку. В августе 1860 года двое молодоженов, моих друзей, привезли из Швейцарии один из тех маленьких гербариев-альбомов, что продаются в этой стране. Молодая женщина предназначала его одному из своих братьев, тогда студенту. Я вызвался сделать этот подарок более поучительным и под диктовку знакомого ботаника вписал рядом с названием каждого растения название семейства и класса, к которому оно принадлежит. Вот и все. Это занятие, понятно, перемежалось вопросами и ответами о растениях и о местах, которые они предпочитают. Шестнадцать лет спустя, будучи в Брюсселе у того самого брата, о котором только что шла речь, я случайно бросаю взгляд на альбом; узнаю его, открываю, снова вижу свой почерк; он вызывает в моей памяти обстоятельство, которое я упустил из виду, и *asplenium* моего сна; ищу — и действительно нахожу в гербарии папоротник с этим названием. Таким образом, это чужое слово, на котором мое внимание на миг задержалось и воспоминание о котором, как можно было думать, должно было вскоре совершенно угаснуть, оставило в моем мозгу отпечаток, пусть и очень легкий, но достаточный, чтобы однажды позволить ему снова всплыть на поверхность моего сознания.

Этим объясняется и то, почему в моем сне растение так легко рассыпается у меня под пальцами и почему оно является мне окрашенным в такой темный цвет. Что же до того, как я называю этот цвет, читателю полезно знать, что я дальтоник.

Но это не все. В ноябре 1877 года, листая один из томов «Вокруг света», который вернул мне один из родственников, бравший его у меня почитать, я вдруг обращаю внимание на гравюру, которая в точности изображает вторую часть моего сна.

На ней виден лес и множество ящериц, которые, похоже, все устремляются в одном определенном направлении. Какого года был том? 1861 год, второе полугодие (с. 35)! Это второе издание столь необычного акта памяти окончательно побудило меня рассказать этот сон, а там, слово за слово, и заняться сном вообще.

Поскольку я был подписчиком «Вокруг света» с самого его основания, то, значит, около июля того самого 1861 года, то есть более чем за год до моего сна, я, должно быть, прочитал «Путешествие в Бразилию» г-на Биара, к которому принадлежит эта гравюра. По этому случаю я снова его пробежал, и все забавные происшествия его пребывания в этой стране снова предстали моему уму. Но — и это тоже стоит отметить — мне кажется, я чувствую между его рассказом о переселении ящериц и моим некоторое сходство в манере. «…Работая, я видел, как насекомые, ящерицы проходят возле меня и все направляются в одну сторону… Все это движение, казалось мне, могло предвещать лишь страшную *грозу* (напомню, что в своем тексте я употребляю выражение *снежная гроза*)… и вдруг меня с головы до ног облепил целый легион муравьев… Полосой примерно в десять метров шириной и так густо, что не было видно ни вершка земли, мириады странствующих муравьев шли, не останавливаясь ни перед каким препятствием… не отклоняясь ни на линию… На пространстве, которое нельзя было пройти меньше чем за час, я не видел ни малейшего места, где можно было бы ступить без опасности»[12].

[12] В своей лекции о *заражении и гниении* (см. «Научное обозрение», 10 июня 1876 г.) г-н Тиндаль тоже отмечает замечательное совпадение. Он объясняет действие бактерий, сравнивая их с облаками, которые бегут туда и сюда по небу. И вот тот же образ, выраженный теми же словами, встречается в сочинениях Эренберга. Профессор Гексли указывает ему на это, прибавляя, что нет ничего нового под солнцем. Г-н Тиндаль находит этот случай удивительным, ибо уверяет, что

никогда не слышал об этой мысли Эренберга. Уверен ли он в этом? Сто раз нам случается думать, будто мы что-то нашли, тогда как мы, вероятно, лишь это воспроизводим.

Это именно то, что я видел, с той разницей, что муравьев этого рассказа заменили ящерицы с гравюры. Прибавим, однако, еще — ибо в подобном предмете мельчайшие подробности могут однажды приобрести значение, — что на иллюстрации ящерицы движутся слева направо, тогда как мое воображение воспроизвело их ползущими справа налево.

Это двойное открытие — поистине счастливая находка, и само по себе, без дальнейших объяснений, оно уже проливает свет на те сны, которые ставят вас перед пейзажем, которого вы никогда не видели, или переносят в город, где вы никогда не бывали, — картины, которые сперва вы считаете чистым вымыслом и в которых однажды, к великому своему удивлению, узнаете копию действительности[13].

[13] Вот отрывок из письма, которое г-н П. Таннери написал мне о снах и которое приходится кстати: «Я совершенно согласен с вами в том, что нет признака, по которому можно было бы отличить воспоминание о сне от воспоминания о действительности. В подтверждение этого положения у меня есть очень точный личный факт. С детства у меня хранится очень живое воспоминание о пейзаже (слияние двух рек с лесистым островом посредине), который я узнал бы завтра, если бы оказался перед ним, так же как узнал бы любой из пейзажей, поразивших меня в моих путешествиях. Это воспоминание было у меня по меньшей мере два или три года, когда я надумал выяснить, к какому месту оно относится; найти его я не смог, и родители в конце концов сказали мне, что он мне приснился. Допуская возможность этого, я признал бы это лишь в том случае, если бы мог по порядку обследовать все края, где мог побывать до двенадцати лет, а это было бы очень долго, потому что отец часто брал меня с собой в поездки и на прогулки; словом, я остался в полнейшем сомнении».

Я не могу входить здесь во все общие соображения, на которые способен навести этот сон. Я остановлюсь лишь на некоторых чертах «личного опыта», которые в нем заключены. А так как

факт воспроизведения гравюры по существу тот же, что и факт с *asplenium*, то вокруг этого последнего я и сгруппирую вопросы, на которые постараюсь ответить.

Прежде всего заметим, что впечатление, которое по своей природе должно было быть очень слабым, — что, впрочем, показывает и вся эта история, — ожило во сне с величайшей отчетливостью. Путем обобщения отсюда можно заключить, что всякое впечатление, даже самое незначительное, оставляет неизгладимый след, который бесконечно долго способен снова выйти на свет. История и наука, впрочем, полны фактов, которые в случае нужды оправдали бы это утверждение. Сколько раз во времена гонений наблюдали странные припоминания, вызванные религиозным воодушевлением? Чего только не рассказывают о конвульсионерах, сомнамбулах, больных истерией? Итак, вот первый вопрос: как может столь ничтожное событие среди вечного потока вещей сохраниться столь совершенно? Этот факт, по-видимому, есть частный случай закона, по которому во вселенной ничто не пропадает. Приведенный этим к исследованию смысла, значения и основания этого закона, я сформулирую рядом с ним другой закон, который придаст ему его истинное значение. После чего прибавлю несколько слов о причине сна и о передаче памяти по наследству, потому что эти предметы встретятся мне на пути.

Далее, название *asplenium* входит в мой словарь, поскольку я вижу сон, но не поскольку я бодрствую. Если я владею им по пробуждении, то потому, что почерпнул его из своего сна, а не потому, что знал его когда-то. Я, таким образом, в положении человека, который одновременно и помнит, и не помнит; который, например, оказавшись лицом к лицу с кем-нибудь, думает, что уже где-то его видел, но не знает где. Мне хотелось бы найти, откуда

пришло мне на ум это название *asplenium*. Потому-то, когда альбом попадается мне на глаза, во мне происходит нечто такое, будто разрывается завеса. Почему именно этот альбом, а не мой сон, заставляет меня сказать: я помню? Что же такое, собственно говоря, воспроизведение прошлого?

Наконец, с этим вопросом связан, как побочный, и третий. Это название, исчезнувшее из моих воспоминаний, неизгладимо запечатлевается в них начиная с той ночи, когда оно мне приснилось. Казалось, оно стерлось, и вот само собой, без всякого, смею сказать, внешнего воздействия, которое вновь углубило бы его письмена, оно снова обретает силу и краски и занимает в моих воспоминаниях место, какого далеко не имеют другие названия, более того заслуживающие. Здесь действовало некое накопление; каков его источник? Это приведет меня к разговору о логичности и бессвязности сновидений. Таков будет предмет последней части этой книги.

Как видим, предмет довольно велик. Поэтому я предлагаю читателю скорее опыт, чем трактат. Я вношу свою лепту в теорию памяти — не более. Эта теория, что бы о ней ни думали, еще не завершена. Если бы мое исследование не дало даже никакого иного результата, кроме того, что указало бы на ее недостаточность, мое честолюбие могло бы считать себя удовлетворенным.

СОХРАНЯЮЩАЯ ПАМЯТЬ

✦

Глава I. Начало сохранения силы

Ложность аксиомы, будто в природе ничто не пропадает — ни материя, ни сила. — Всякое изменение порождает изменение, неспособное воспроизвести его целиком; иначе были бы следствия без причины. — Разбор возражения, взятого из маятника: что скрыто за явлением падения тел.

В природе ничто не пропадает — ни атом материи, ни момент силы[14]. Это положение перешло в разряд аксиом и стало до того избитым, что его почти не решаются произносить. Многие льстят себя мыслью, что понимают его, и, без сомнения, понимают его по-своему. Что до меня, я не вполне его постигаю и недалек от того, чтобы объявить его ложным. Что же такое прошлое, которого больше нет и которое больше не вернется? Что же такое будущее, которого еще нет, но которое бесповоротно станет прошлым? Не улетела ли моя юность, унеся неведомо куда беспечность, любовь, иллюзии, поэзию и оставив мне взамен науку — всегда суровую, порой печальную и угрюмую, которую мне часто хотелось бы забыть и которая во всякий час твердит мне свои строгие уроки и леденит меня своими суровыми предостережениями? Время, которое неустанно громоздит смерти на рождения и рождения на смерти, создаст ли когда-нибудь снова Аристотеля или Архимеда, Декарта или Ньютона? Сможет ли Земля когда-нибудь снова покрыться гигантскими папоротниками, огромными хвощами, среди которых будут

двигаться ныне исчезнувшие чудовища? Правда ли, как говорят поэты, что Природа — мать, всегда готовая рождать, и что лоно ее никогда не устанет? Как! Неужели она одна не старится?

[14] Говоря строго геометрическим языком, мне следовало бы сказать *виртуальный момент*.

Нет! Все, что было, больше не будет и не может больше быть. Час бежит неутомимым шагом и не проходит дважды по одному и тому же циферблату. Мгновения, из которых складывается существование мира, все несходны между собой. Непрестанно становящееся превращается в ставшее, возможность — в действительность, движение — в покой; и в сделанном всегда есть что-то, чего уже нельзя переделать.

Эти общие места, которые поражают и захватывают простых людей, большинство ученых забывает или ими пренебрегает. Разве, в самом деле, им нечего им противопоставить — вечность материи и вечность силы, — и разве этими тремя словами не объяснено все? Материя и сила не способны ни увеличиваться, ни уменьшаться; может ли после этого природа что-нибудь от нас утаить?

Послушаем, например, г-на Тэна[15]: «Так же мы поступаем с этими общими законами, пока наконец природа, рассматриваемая в ее пребывающей основе, не предстанет нашим догадкам как чистый отвлеченный закон, который, развертываясь в подчиненные законы, приводит во всех точках пространства и времени к непрестанному появлению особей и к неистощимому потоку событий. Весьма вероятно, что новый механический закон о сохранении энергии есть недалекая производная этого высшего закона; ибо он устанавливает, что всякое изменение порождает изменение, способное воспроизвести его без прибавления и без потери; что, следовательно, второе в точности равноценно

первому и что, таким образом, видимое или невидимое, количество действия, или работы, остается в природе всегда одним и тем же. А если… это действие, которое есть пребывающее бытие вещей, сводится к движению, если все события, физические и нравственные, сводятся к движениям, если само движение есть составное из бесконечно уменьшенных ощущений, если существование, повсюду однородное, повсюду образовано сочетаниями этого столь простого элемента, то позволительно надеяться, что приближается время, когда, установив его всеобщее присутствие и неразрушимое постоянство, можно будет искать основания того и другого, исследовать, были ли возможны другие элементы, и знать не только что он есть, но и почему он есть».

[15] «Об уме», предисловие ко второму изданию.

Вот что сказано категорично: всякое изменение порождает изменение, способное воспроизвести его без прибавления и без потери; существование повсюду образовано сочетаниями движения, постоянство которого неразрушимо; следовательно, природа приводит во всех точках пространства и времени к непрестанному появлению особей и к неистощимому потоку событий[16].

[16] Г-н Рибо в статье о *психологической роли движений* («Философское обозрение», октябрь 1879 г., с. 384), по-моему, впадает в ту же ошибку. «Невозможно, — говорит он, — чтобы движение не возвращалось вовне в какой-либо форме». Правда, эта фраза допускает несколько толкований.

Но верно ли все это? Возможно ли в самом деле вечное движение? Очевидно, речь идет здесь не о мечте нескольких сбившихся с толку умов, которые добиваются создания машины, способной не только поддерживать собственное движение, но и сверх того

производить известную работу. Эту причуду незачем опровергать. Я говорю о вечном движении в чистом виде. Конечно, если стать исключительно на почву отвлечения и строго держаться того или иного формального начала логики, можно с некоторым видом правоты утверждать, что причина целиком переходит в свои следствия и что, стало быть, эти последние обладают возможной способностью воспроизвести причину. Обладают ли они действительной способностью к этому? Это другой вопрос; это даже единственный вопрос, и это мы сейчас увидим.

На первый взгляд, до всякого дальнейшего размышления, кажется, что теоретическая и рациональная механика без противоречия осуществляет вечное движение, попеременно превращая причину в следствие и следствие в причину. Свидетель тому — маятник. Тяжелая математическая точка, подвешенная на жесткой и нерастяжимой нити в несопротивляющейся среде к неподвижной точке, вокруг которой она может качаться без трения, если ее отвести от положения равновесия, начнет колебаться, и ее движение взад и вперед будет продолжаться вечно. Нетрудно дать себе точный отчет в том, что происходит. Отводя тяжелую точку, мы поднимаем ее на некоторую высоту и сообщаем ей способность опуститься ровно на всю эту высоту и не ниже, ибо она привязана своим стержнем к точке подвеса.

Эта способность вступает в действие, как только я предоставляю точку самой себе. Ее сила напряжения, как выражаются на языке науки, во время этого движения превращается в живую силу, и, когда точка дошла до низа своего пути, превращение закончено. Теперь начинается превращение в обратную сторону: благодаря приобретенной скорости маятник поднимается, накапливая живую силу в виде силы напряжения, и, когда движение останавливается, маятник оказывается точно на

той же высоте, с которой он начал. Усилие, которое было затрачено, чтобы отвести его от точки покоя, снова целиком обнаруживается в маятнике как сила напряжения — только на этот раз маятник поднялся в силу собственного движения. Значит, колебания будут повторяться вечно, причем сила напряжения будет превращаться в живую силу и обратно без прибыли и без потери.

В эллиптическом движении небесных тел можно в известном отношении найти осуществление подобной же теории. Планета, брошенная в пространство начальной силой, стремится упасть на Солнце. Она понемногу к нему приближается, и ее движение ускоряется самим этим падением. Так что, дойдя до некоторой точки своего пути, она под действием приобретенной скорости удаляется от центрального светила; она начинает, если воспользоваться словом, которое хорошо передает суть дела, подниматься. Но этот подъем, или удаление, совершается за счет ее скорости, которая убывает. Наступает, следовательно, миг, когда эта скорость становится такой же, какая была сообщена планете вначале; и так явления сближения и удаления, падения и подъема будут возобновляться периодически, неизменно и бесконечно. Если так, то полное обратное превращение следствия в причину было бы не просто умственным построением: природа давала бы нам его примеры.

Но даже если на минуту допустить, что обращение планет действительно происходит в таких условиях и что наша близорукость не скрыла от нас изменений их орбит и продолжительности их года, — вправе ли мы были бы заключить отсюда, что Земля может снова пройти через одну из прежних ступеней своего существования, причем все во вселенной совершило бы равноценное возвращение, и притом без иного

вмешательства, кроме вмешательства природных сил, которые ныне на ней действуют, иными словами, без всякого обращения к силам извне? Подобный логический вывод из начала, что причина целиком обнаруживается в своих следствиях, противоречит другому логическому началу: нет следствия без причины. Вообразим на минуту, что после ряда обращений оживет древнее общество, что человечество, понемногу лишившись открытий, накопленных им со времен Аристотеля и Архимеда, вернется к тому, чем оно было около эпохи Александра или Марцелла, и снова причислит к своей славе автора «Органона» или изобретателя гидростатики, — все равно в них нельзя было бы видеть тех же самых людей, чье имя, облик и гений они переняли бы. А если новое состояние действительно ничем не отличается от прежнего, если мир действительно вернулся к той же точке без прибыли и без потери, то все, что произошло в промежутке, есть лишь ряд следствий без причин; первый Аристотель и первый Архимед — если только можно сказать, что они были бы первыми, — извлечены из ничего. Если папоротники и хвощи должны однажды снова покрыть землю своей однообразной зеленью, если ихтиозавры должны снова появиться в лоне морей, а игуанодоны — в тени лесов, то где была бы причина первобытной фауны и флоры и всех превращений, которые они с тех пор претерпели бы? Раз все вещи вернулись бы точно в то же состояние, ряд этих промежуточных превращений есть порождение небытия; это настоящее *creatio ex nihilo*.

Но, скажут мне, а движения небесных тел, а качания маятника? Путь Земли в пространстве, пока она не вернется к тому же солнцестоянию, попеременное опускание и поднятие маятника — неужели и это следствия без причины, творения из ничего?

Я уже указал, какие оговорки требует представление о совершенно правильной периодичности в обращении небесных тел. Но я прямо перехожу к случаю маятника. Я даже не укрываюсь — а я имел бы на это полное право — за тем решительным, но слишком удобным ответом, что маятник теории неосуществим, что не бывает несопротивляющейся среды, безусловно жесткого и нерастяжимого стержня и подвеса, способного вращаться без трения, — нет! Я принимаю идеальный маятник, качающийся без трения в безусловной пустоте. Он опускается и поднимается до того же уровня. Но это движение заняло время. В математической формуле, которая его выражает, время фигурирует как отвлеченная величина, которую обычно обозначают буквой *t*. Это обозначение расплывчато, и расплывчата мысль, которая в нем скрыта. Долго ли длится это время, коротко ли? Мы ничего об этом не знаем. Но какова бы ни была эта неизбежная неопределенность, одно несомненно: время не чистое отвлечение, время есть нечто[1]. А если оно есть нечто, значит, есть нечто, что расходуется, и расходуется безвозвратно. И когда я говорю, что время есть *нечто*, я разумею под этим, что оно обладает действительным, а не только мысленным существованием, — как бывает, когда мы говорим, что и небытие есть нечто, поскольку у нас *о нем* есть понятие и мы дали *ему* имя. Это время есть действительность; ведь если бы оно было только чистой мыслью, маятник был бы в одно и то же мгновение сразу во всех точках своего пути, и тогда, по сути, не было бы больше ни периодичности, ни, следовательно, движения.

[1] В своей «Научной логике» я доказываю, что действительное время не есть простое отношение.

Попробуем же выяснить, какая действительность воплощается во времени.

Почему маятник движется? Потому что, поднятый на некоторую высоту над своей точкой покоя, он стремится упасть обратно и падает, когда его предоставляют собственной тяжести. Приводит его в движение притяжение, которое влечет его к известной точке пространства, — скажем для определенности, к центру Земли. Говоря точно, опуститься его побуждает лишь часть его веса; другая часть поглощается предполагаемыми жесткостью и нерастяжимостью стержня и неподвижностью точки опоры. Я уже сказал, что не поднимаю затруднений с этой стороны, потому что хочу взяться за вопрос с самой трудной его стороны. Вот задача и упрощена: речь идет уже только о падении одного тела на другое в силу их взаимного притяжения. А раз это падение не мгновенно, раз оно занимает время, пусть самое краткое, значит, оно испытывает задержки, значит, оно встречает сопротивления, которые в конце концов оказываются побеждены; а могут ли побежденные сопротивления восстановиться сами собой?

Итак, маятник в своем попеременном движении сламывает сопротивления, и потому-то его движение и занимает время. Что это за сопротивления? Я ничего о них не знаю и пока ничего не хочу знать, потому что этот предмет увлек бы меня так далеко, что я мог бы и не вернуться. Как бы то ни было, они существуют в той или иной форме, а это позволяет утверждать, что бесконечную и совершенную периодичность невозможно себе представить, даже если замкнуться в чистом отвлечении.

Подведем итог. Между двумя логическими началами — «нет следствия без причины» и «причина целиком переходит в свое следствие» — было бы безусловное противоречие, если бы из второго выводили, что следствие может воспроизвести причину. А если этот вывод незаконен, то жизнь всей природы

развертывается между начальным и конечным состоянием, или, говоря обычным языком, у нее было начало и будет конец.

Глава II. Превращение сил и конец физической вселенной

Водопад и мельница: сила заключена не в материи как таковой, а в положении этой материи. — Теплота и движение: вселенная идет к равновесию температуры. — Разбор возражения, взятого из бесконечности пространства и времени. — Безвозвратно разрушается превратимость сил.

Рассмотрим теперь задачу с другой стороны. Логика — наука непогрешимая, никому не придет в голову ей противоречить. Но довольно часто случается, что человеческий ум неверно применяет ее начала и опирает свои рассуждения на пустоту. Есть ли у предыдущего рассуждения, при всей его правдоподобности, прочное основание, и согласна ли положительная наука, которая не довольствуется словами, его утвердить? Оставим же почву диалектики и, приблизившись к действительности, применим наши размышления к конкретному примеру.

Водопад приводит в движение мельницу. Очевидно, эта вода не пропала. Однако после того как она упала, она уже не там, где была прежде: была наверху — и вот она внизу. Пока она была наверху, она могла вращать мельницу; но, оказавшись внизу, она этого больше не может. Она утратила силу падения; теперь она сможет приводить в движение только мельницы, расположенные ниже. Что же стало с этой силой падения? Она, говорят, целиком перешла во вращательное движение колеса, так что остановка этого самого движения могла бы поднять упавшую воду до той точки, откуда она падает. Это утверждение, едва ли защитимое, как мы только что видели, с точки зрения чистого отвлечения,

становится совсем несостоятельным, как только в расчет принимают действительные составные части задачи. Сила падения дала начало и другим явлениям, кроме вращения колеса, и потому этого вращения не могло бы хватить, чтобы поднять всю воду к исходной точке.

Так, среди прочих следствий, некоторое количество теплоты возникло от трения оси мельницы о ее опоры и от ударов частиц воды друг о друга и о лопасти колеса. Это выделение теплоты произошло за счет движения, которое стало от этого менее быстрым. Теперь возникает вопрос: можно ли извлечь из этой теплоты все движение, которое она поглотила? Так вот — нет. Часть этой теплоты, а значит, и часть силы падения, отныне больше не способна к превращению; для движения она безвозвратно потеряна. Этот пункт крайне важен, и я должен немного на нем остановиться, чтобы рассеять заблуждения, которые охотно сходят за истины в уме мыслителей, мало знакомых с механической теорией теплоты в том виде, в каком ее установили Майер и Клаузиус.

Следующее сравнение, которое точно передаст то, что происходит в природе, сделает дело наглядным. Представим себе самодействующую железную дорогу, устроенную на наклонной плоскости. Бесконечный канат проходит через два блока, один из которых находится наверху плоскости, другой — внизу, и, пока один вагон спускается, другой поднимается. Когда я нагружаю на один из вагонов материалы, лежащие наверху, он начинает спускаться и поднимает другой вагон. Я могу воспользоваться этой силой спуска, чтобы доставить к верхнему концу плоскости некоторое количество прежде спущенных материалов; но очевидно — даже если отвлечься от трения, — что поднять я смогу лишь вес, хоть немного да меньший того, который нагружен

на спускающийся вагон. Так что эта работа неизбежно приводит к тому, что при каждом спуске материалы перемещаются сверху вниз и нижний запас непрерывно растет за счет верхнего. И так неизбежно наступит день, когда работа должна будет прекратиться за отсутствием пищи. С другой стороны, остановка спускового движения производит теплоту, так что сила напряжения верхних материалов понемногу превращается в теплоту. Количество материи всегда будет одним и тем же, с той разницей, что первоначально она была вверху, а под конец оказывается внизу плоскости; и количество силы будет тем же, с той разницей, что напряжение заменено теплотой. Но эти различия значительны.

Едва ли нужно, прежде чем идти дальше, отмечать, что в промышленности силу спуска обычно не употребляют только на работу подъема. Но какова бы ни была работа, на которую она идет, — должна ли она поднимать молот, долбить скалу или молоть зерно, — по сути это совершенно одно и то же.

Что же расходуется в этой работе, какова бы она ни была? Не материя — а простая разность уровней. Мельницу движет не вода, а ее способность падать. Вода была бы ни на что не годна, если бы не текла с высоты большей, чем лопасти колеса.

Итак, сила заключена не в самой материи, а в положении материи[2]. А разностью уровней пользуются, только уничтожая ее, и, когда она уничтожена, она не может восстановиться.

[2] Я уже дал и защищал это определение силы в своей «Научной логике», но опираясь на соображения иного рода.

Нечто подобное происходит и при превращении теплоты в движение. Совершить это превращение можно, лишь переводя теплоту от более горячего тела к более холодному, то есть пользуясь разностью температур.

Если бы все точки вселенной имели одну и ту же температуру, сколь угодно высокую, из нее нельзя было бы извлечь никакого движения. Из однообразия может родиться лишь однообразие. А если пользоваться всегда можно лишь разностью температур, то в движение можно превратить только часть теплоты тел. Ведь чтобы превратить ее всю, нужно было бы уметь довести тело до безусловного холода, или, как говорят, до абсолютного нуля температуры. Для этого нужно было бы привести его в соприкосновение со средой, которая сама находилась бы при абсолютном нуле. Но, во-первых, такого тела или такой среды нет, никогда не было и быть не может. Кроме того, если бы даже всемогущее существо создало где-нибудь подобную среду, а остальная вселенная осталась бы в прежнем состоянии, эта среда сохранилась бы такой лишь на мгновение: едва созданная, она нагрелась бы и перестала бы быть безусловно холодной. Одно сравнение может сделать дело совершенно ясным, хотя полного соответствия между двумя сравниваемыми предметами нет. Точно так же невозможно использовать всю силу падения, заключенную в тяжелом теле. Ведь чем дальше отодвигаешь точку притяжения, тем значительнее падение. Казалось бы поэтому, что для получения наибольшей живой силы надо было бы отодвинуть точку притяжения за всякий предел, то есть в бесконечность, — что, к слову сказать, лишено смысла и равносильно тому, чтобы не помещать ее нигде, — но тогда притяжения уже нет. Вернемся к нашему предмету.

Тело может охладиться только при соприкосновении с телом или средой холоднее его. Отсюда следует, что самые холодные тела непрерывно нагреваются, а самые горячие охлаждаются. Значит, разности температур стремятся исчезнуть; вселенная неустанно идет к однообразию, к равновесию температуры, и

количество теплоты, способной превратиться в движение, непрерывно уменьшается.

Но это еще не все. Тогда как теплота не может целиком превратиться в движение, движение, напротив, может целиком превратиться в теплоту. Когда две равные свинцовые массы, движущиеся навстречу друг другу с одинаковой скоростью по одной прямой, сталкиваются, остановка их движения вызывает их нагревание, и притом без посредников. А жизнь вселенной состоит в непрерывных столкновениях, в остановках движения, за которыми следует выделение теплоты. Так что количество теплоты непрерывно растет за счет количества движения. Течение вещей, без сомнения, неизбежно, но это течение всегда направлено в одну сторону. Существование вселенной протекает между двумя пределами: в начале — движение без теплоты[3]; в конце — однообразная теплота без движения. Из этих двух пределов, которые мысль представляет себе известным образом, один, правда, никогда не был осуществлен, другой никогда осуществлен не будет, или — если пользоваться языком математики — один отстоит на бесконечное время в прошлом, другой наступит через бесконечное время в будущем; но при всем том движение день ото дня становится затруднительнее, и неизбежно придет эпоха, когда оно будет неощутимо[4].

[3] Так, по крайней мере, я представляю себе начальное состояние вселенной, и я отдаю эту мысль на суд людей, более сведущих, чем я, в этих высоких физических умозрениях. Чтобы осуществить, идя вспять, подобное состояние, нужно было бы, чтобы все колебательные движения, которые называют теплотой, электричеством и т. д., превратились в поступательные движения. Тогда каждая частица обладала бы своим собственным движением, независимым от движения других частиц. — Читатель не должен упускать из виду, что появление бесконечности в математической формуле есть знак невозможности. Сказать, что определенное состояние существовало бесконечное время назад, — значит сказать, что оно никогда не могло быть. И действительно, если бы оно

осуществилось тогда, оно было бы осуществлено и сегодня, потому что бесконечность не исчерпывается.

---

[4] Читатель, желающий глубже проникнуть в механические соображения, на которые опирается этот вывод, с пользой и интересом прочтет речь *о начале и конце мира по механической теории теплоты* г-на Ф. Фоли, члена Бельгийской академии. Эта речь напечатана в «Бюллетенях» этого общества, 2-я серия, т. XXXVI, № 12, декабрь 1873 г.

И пусть не думают выдвинуть победоносные возражения, ссылаясь на бесконечность пространства и времени. Пусть не говорят, например, что количество движения, быть может, бесконечно и что оно, следовательно, неисчерпаемо. Эта лазейка лишь кажется надежной. Во-первых, слово «бесконечный» не имеет смысла. Но если бы оно и имело смысл, то, поскольку движение разрушается само собой, отсюда следовало бы, что причина разрушения, действуя повсюду, где есть движение, тоже была бы бесконечна. Конечно, один-единственный потребитель никогда не израсходовал бы бесконечно большой запас свечей. Но если потребителей бесконечно много и каждый зажжет свою свечу, запас, как бы бесконечен он ни был, продержится лишь несколько часов. Во всех уголках вселенной различия неизбежно сглаживаются, и придет время, когда эти различия станут так малы, что вся поверхность окажется словно выровненной и движение — спуск с одной стороны, подъем с другой — будет до неотличимости похоже на неподвижность.

Такой вывод не может нас не возмущать; и, однако, таков именно приговор нынешней науки, и, как говорил Ювенал[5]:

Quod modo proposui, non est sententia: verum est;
Credite me vobis folium recitare Sibyllae.

«Это не тема для упражнения в красноречии: это страница Сивиллы».

[5] *Сатиры*, VIII, 125 и 126.

Ах! Сколько бы мы ни знали, что как отдельные существа обречены рано или поздно исчезнуть и что те, кто придет после нас, будут жить, как и мы, лишь недолгой жизнью, сколько бы наука ни показывала нам, что и сами виды существуют ограниченное время, что они на миг вспыхивают на поверхности земного шара, а затем безвозвратно гаснут, — мы нелегко миримся — а ведь, казалось бы, нам-то что до того? — с мыслью, что человечество может быть уничтожено, а вместе с ним Земля, Солнце, планетная система, наша туманность и все те, что наполняют беспредельность. Быть может, в конце концов этот ужас перед вечным безмолвием, к которому некоторые философы хотели бы, однако, внушить нам любовь, имеет основание в самой природе вещей. Быть может, более строгое исследование сущности силы и мысли позволило бы нам почерпнуть поводы к мужеству, утешению и гордости в том, что, кажется, так и создано, чтобы преисполнить нас ужасом, отчаянием и унижением.

Подведем итог. В природе есть нечто, что исчезает, и исчезает безвозвратно. Допустим, что это ни материя, ни сила; но это нечто, на первый взгляд, более драгоценное, чем сама сила: это ее способность превращаться. Ведь если бы во вселенной не должно было остаться ничего, кроме неизменного, чем отличалась бы она от небытия? Всякое изменение переводит силу из превратимого состояния в непревратимое: оно, следовательно, расходует превратимость. Превратимость понемногу истощается, а вместе с ней и общая причина изменения. И тут естественно спросить себя, не заслуживала бы эта причина с большим правом имени силы; и если видеть в ней — что кажется разумным — истинную силу, верно ли тогда говорить, что сила неразрушима, и, во всяком случае, что в природе ничто не пропадает?

Эти общие соображения были необходимы для моего предмета. Полезно было окинуть местность взглядом с высоты птичьего полета, чтобы составить себе верное представление о пути, который собираешься пройти. Мне остается теперь, ввиду цели моего исследования, точнее определить характер этого превращения превратимого в непревратимое и в конечном счете заменить формулу сохранения энергии другой.

Глава III. Начало закрепления силы

Всякое превращение силы ведет к ее частичному закреплению. — Происхождение силы: нарушение равновесия; конец силы: равновесие. — Равновесие статическое и равновесие динамическое. — Закрепление впечатлений в организованной материи. — Бесконечная проницаемость живой материи.

Если бы сила проявлялась в виде движения распространения, или волнового движения, в совершенно упругой среде, она постоянно оставалась бы тождественной самой себе; в любое мгновение длительности она была бы тем же, чем была мгновением раньше, а это значит, что не было бы ни изменения, ни длительности. В какой мере это предположение возможно, хотя бы мысленно? Мне незачем этим заниматься; мне достаточно знать, что оно не осуществлено[6]. Мы не знаем никакой среды, обладающей совершенной упругостью[7]. Отсюда следует, что в действительных средах сила должна побеждать сопротивления и выходит из борьбы ослабленной. Часть ее превращается в изменение, запечатленное в препятствии; это превращение постоянно в том смысле, что первоначальное состояние само собой не восстановится, а значит, некоторая доля превратимости безвозвратно разрушена.

[6] Мы только что видели, что жизнь вселенной протекает между двумя крайними, но бесконечно удаленными пределами, где это предположение осуществляется.

[7] Этим свойством наделяют эфир. Но эфир — среда предположительная. И к тому же он все-таки обладает известным сцеплением, поскольку свет проходит через него не мгновенно.

Конечно, превращенная сила не уничтожена; она по-прежнему способна производить следствия, ведь всякая новая сила, действуя на измененное препятствие, почувствует его противодействие в форме, которая выдаст само это изменение. Так что в течение вечности удар, испытанный вначале, будет накладывать особую и неизгладимую черту на облик вселенной. Но эта сила уже не сможет целиком принять свою прежнюю форму. До этого случая она могла стать тем или этим; теперь, когда она стала этим, уже невозможно сделать так, чтобы она этим не стала.

Одним словом можно определить это изменение: сила была свободна — если мне позволено так выразиться, — теперь она уже не свободна; она *закреплена*, и закреплена в препятствии. Заметим, кроме того, что закрепление свободной силы есть не что иное, как ее соединение с другой силой, которая тем самым, как и она, уступает часть своей свободы. А так как в природе, как только что было сказано, нет вещества безусловной упругости, удары частиц друг о друга возвращаются ослабленными; облик вселенной меняется ежеминутно, и силы непрерывно видоизменяются, переходя из свободного состояния в закрепленное.

Здесь было бы место исследовать во всей глубине характер этого превращения и спросить себя: что такое свободная сила? Что такое сила закрепленная? Но этот вопрос я оставляю для

другой работы. Мой предмет побуждает меня лишь выяснить новое начало — начало закрепления силы.

Нас прямо занимает один пункт: как совершается переход от свободы к закреплению? Каково происхождение силы и каков ее конец?

Если бы все атомы вселенной находились в безусловном покое, то, само собой разумеется, не было бы и повода говорить о силе. По сути, было бы то же самое, если бы они в своих движениях никак не мешали друг другу или же, как уже было сказано, если бы они состояли из совершенно упругих веществ. Во всех этих случаях не было бы превратимых сил, способных перейти из свободного состояния в закрепленное. Повсюду царило бы неизменное статическое или динамическое равновесие.

Всякое проявление силы предполагает нарушение равновесия, а движения, которые за ним следуют, имеют целью привести к новому состоянию равновесия. Нетрудно уяснить себе, что такое нарушение равновесия. Возьмите сосуд с водой и трубку, открытую с обоих концов, нижняя часть которой погружена в эту воду. Известно, что жидкость поднимется в трубке до той высоты, на которой она стоит в сосуде. Но если через верхнее отверстие трубки вы втянете воздух или подуете, вы нарушите это положение, и жидкость поднимется или опустится, пока не установится другое состояние. Дуновение или втягивание вызвало нарушение равновесия, которое привело воду в движение; и у этого движения был конец — восстановление нового равновесия.

Точно так же, если привести металлический брусок в соприкосновение с телом более горячим, чем он, нарушится равновесие в распределении теплоты в этом бруске; он будет постепенно нагреваться во всех своих частях, и нагревание

прекратится лишь тогда, когда каждая из них достигнет особой и постоянной температуры.

Иногда движение имеет целью восстановить первоначальное состояние. Если натянутую струну отклонить от положения покоя, равновесие ее частиц нарушено; но она будет стремиться к нему вернуться и достигнет этого после более или менее длинного ряда колебаний. Согласно тому, что было сказано выше, в конечном счете всегда возникает новое состояние. Ведь если бы это было не так, что сталось бы с силой, которая вывела струну из первоначального состояния? Потому-то струна и не возвращается в точности к своей прежней форме и прежнему строению: она немного ослабевает. Вот почему скрипач должен время от времени подстраивать свой инструмент. Вот почему и маятник, приведенный в движение, в конце концов останавливается, а сила первого отклонения целиком переходит в износ и нагревание подвеса, в удары о воздух и в другие явления.

Вот что касается статического равновесия. Нужен пример равновесия динамического? Камень, брошенный в стоячую воду, избороздит ее волнистыми складками, которые побегут одна за другой, расходясь кругами вокруг места, куда он упал. Второй камень, брошенный в другое место, образует новые круги, которые лягут поверх первых. С падением третьего камня третья система волн наложится на две предыдущие; и так далее. Сеть, которая отпечатается на поверхности воды, будет верно выражать все случаи, нарушавшие ее покой; достаточно будет рассмотреть ее, чтобы восстановить историю ее образования, отыскать свидетельство о рождении первой системы и записи о последовательных браках этой системы с другими. Положение одной-единственной пылинки, висящей в солнечном луче, есть точный итог всех сил, которые ее колебали от сотворения мира.

Отсюда следует, что бесконечный разум одним взглядом, брошенным на совокупность вещей, угадал бы все их прошлое. Это можно доказать очень простым примером.

Известно, что свету нужно время, чтобы дойти от одной точки до другой. Свет Солнца доходит до нас за восемь минут; свет Сириуса достигает нас лишь через несколько лет; а есть туманности, так далекие от нас, что их лучи доходят до нас, вероятно, лишь через тысячи веков. Значит, всякий раз, когда житель этих далеких светил зажигает лампу, ее отблеск падает на нашу планету через сто тысяч лет; и через сто тысяч лет он все еще продолжает странствовать в пространстве, отражаясь и преломляясь во всех направлениях. Так, бесконечно чувствительная сетчатка, бесконечная, как само протяжение, видела бы не только настоящее, но и все прошлое, потому что из всех мест вселенной непрерывно и каждое мгновение исходили бы вестники, которым поручено записывать в каждой точке ее ткани более или менее давнюю страницу их истории.

Итак, теперь мы знаем, каково происхождение и каков конец силы. Ее исходная точка — нарушение равновесия; ее конечная точка — состояние равновесия. Отсюда легко понять, как сила закрепляется, потому что равновесие само собой не нарушается. Повторим, однако, — ибо это важно, — что для того, чтобы воцарилось безусловное равновесие, нужно бесконечное время, потому что скорость, с которой совершается выравнивание, прямо зависит от самой разности уровней. Вода вытекает из сосуда все медленнее по мере того, как он опорожняется. Нагревание замедляется по мере того, как уменьшается неравенство температур между нагревающимся телом и тем, которое его нагревает. Так что стремление к конечному состоянию ослабевает, удовлетворяясь, и притом в такой пропорции, что теряет всякий

раз лишь долю самого себя. Дело происходит так, как если бы я, желая равномерно распределить груз на двух чашах весов, несущих неравные гири, всякий раз снимал четверть разницы с более тяжелой чаши и прибавлял ее к более легкой. Таким образом, разница каждый раз уменьшается вдвое. Но я мог бы продолжать этот труд целую вечность, не достигнув своей цели.

Хотя наше знание о сокровенной природе организованной материи еще несовершеннее, чем то, какое мы смогли приобрести о так называемой косной материи, мы все же можем утверждать, что организмы ведут себя по отношению к внешним силам так же и закрепляют их в своем веществе в виде известного, более или менее полного состояния равновесия.

Организм — будь то растение или животное — соприкасается своей периферией с силами, которые действуют вокруг него. Это соприкосновение вносит в положение одной или нескольких частиц расстройство, которое влечет за собой другое расстройство в соседних частицах, и так последовательно, от ближней к ближней. Представлять ли себе действие внешней силы в виде давления или растяжения, распространения теплоты или обращения к упругим свойствам, — явление по существу состоит в нарушении известного, более или менее уравновешенного расположения частиц поверхности, нарушении, которое просачивается в глубины живого вещества, где в конечном итоге приводит к новому состоянию равновесия. Когда колебание остановилось, в результате получается постоянное изменение организма, постоянное в том смысле, что само собой оно не разрушится. На это изменение непрерывно будут прививаться другие. Может случиться, что изменение, полученное прежде, по видимости исчезнет. Но это будет лишь кажущееся следствие того, что последующие изменения, более

значительные, своим присутствием заслоняют сравнительно слабый отпечаток. Так приписки поверх строк могут сделать текст рукописи неразборчивым, вовсе его при этом не стирая.

Остаток внешнего действия состоит, таким образом, просто в новом расположении, навязанном частицам. Они были размещены в известном порядке, между ними были известные отношения, и образ бытия каждой из них был точным выражением образа бытия всей группы, к которой она принадлежала. Непосредственным следствием посторонней силы было изменение этого устройства. Для этого ей нужно было победить сопротивления, опиравшиеся на известные усвоенные привычки; и конечным итогом стал новый, более или менее властный порядок, новые привычки, которые будут более или менее господствующими — обратно пропорционально крепости прежнего порядка и прежних привычек и прямо пропорционально силе и упорству причины, производящей впечатление.

Новое состояние частиц есть равнодействующая прежнего состояния частиц и возмущающей силы. Это продукт соединения, в котором новая сила выступает как составляющая; и, как в химических соединениях, такое объединение возможно лишь ценой взаимного пожертвования двух свобод.

В строгой теории способность косной или живой материи закреплять силы, следовательно, не имеет предела. В самом деле, какое представление можно было бы составить себе о материи, которая испытывала бы удары, ни в малейшей мере их не задерживая?

Однако для того особого предмета, который нас занимает, можно сказать, что у этой способности двойной предел. Удары могут приходиться на частицы, привычки которых так цепки, что

удары, по видимости, не вызывают никакого отклонения. Так химия знакомит нас со сложными телами, оказывающими величайшее сопротивление всякой попытке их разложить. Так и на свете есть люди, которые по неповоротливости ума или упрямству умеют всю жизнь держаться заблуждения, сто раз опровергнутого. Они не вовсе нечувствительны к доводам, которые им приводят, но это почти одно и то же.

Удары могут также встретить частицы, так мало способные к сцеплению, что они без малейшего сопротивления дают увлечь себя любому вихрю. Есть тела, которые пропускают свет; есть умы, которым почти ничего не удается усвоить. О мозге человека, страдающего слабоумием, можно, например, сказать, что он ничего не способен удержать. Да и то не следует понимать эти слова в строгом смысле. Я знал одну пожилую особу, которая после паралича жила уже лишь растительной жизнью. Единственный проблеск разума, который у нее оставался, состоял в том, что, когда она видела своих детей или хорошо знакомых ей людей, она выражала взглядом и подобием улыбки нечто вроде радости. Только для того, чтобы она подала этот знак удовольствия, между посещениями надо было выдерживать известный промежуток. Если в тот же день перед ней появлялись снова, она выказывала лишь полнейшее равнодушие.

Но оставим эти подробности, не углубляясь в них дальше. Мы приближаемся к концу нашего первого перехода и можем наконец, подобно верному Ахату и спутникам благочестивого сына Анхиза, воскликнуть перед желанной землей: *Italiam! Italiam!* Нетерпеливо желая открыть исток обильной и таинственной реки, у которой до сих пор исследовали разве что величественное устье, мы прямо углубились в нагорья и достигли величавого бассейна, из которого вытекали бесчисленные потоки. Там,

доверив одному из них нашу лодку и предоставив себя течению, мы были им принесены к нашей исходной точке. Теперь мы знаем, откуда сохраняющая память берет начало. Мы знаем, что всякий акт чувства, мысли или воли в силу всеобщего закона запечатлевает в нас более или менее глубокий, но неизгладимый след, обычно вырезанный поверх бесчисленных прежних черт и покрытый позднее другим бесчисленным множеством всевозможных линий, но письмена которого тем не менее способны бесконечно долго снова выступить на свет живыми и четкими.

И вот почему буквы слова *asplenium*, которые незначительное событие вписало в мой мозг, смогли однажды ночью вновь обрести весь свой блеск, когда были основания думать, что они угасли навсегда.

Два слова критики, прежде чем закончить. У г-на Альфреда Мори[8] читаем: «Мы не могли бы помнить всех впечатлений, которые восприняли; даже самая счастливая память забывает больше поступков, фактов, вещей, чем помнит; дело в том, что в мозгу лишь ограниченное число волокон и каждое способно лишь к известному числу колебаний. Память об одной вещи вытесняет память о другой, и вновь узнанные факты часто заставляют забыть те, что были известны прежде».

[8] «Сон и сновидения», 3-е изд., «Утрата памяти», с. 404.

Эта мысль, впрочем, довольно распространенная, будто наши воспоминания прикреплены к волокнам, которые могут вынести лишь известное их число, мало того что чистая гипотеза, — она противоречит фактам. Как! Г-н Мори сам ссылается на собственный опыт и отмечает, что самые мимолетные образы, самые заурядные встречи, на которые он не обратил никакого

внимания, оставляют в его мозгу верный и прочный след; так, лицо господина, которого он, должно быть, видел когда-то на улице Клиши, — хотя он этого совершенно не помнит, — вырисовывается в его снах с такой точностью, что он тут же узнает его на улице; так в другой раз его преследуют три фамилии аптекарей, каждая в соединении с названием какого-нибудь французского города, и однажды случай кладет перед ним старую газету, в которой они значились на странице объявлений. Вправе ли он после этого утверждать, что содержимое памяти ограниченно, что одно воспоминание вытесняет другое? Я сам видел, как во мне ожило варварское название *asplenium* и образ гравюры, которая поразила меня не больше, чем тысячи и тысячи других гравюр, прошедших перед моими глазами с тех пор, как я листаю книги; у больных истерией, у людей в состоянии экстаза, у людей, страдающих галлюцинациями, сто раз наблюдали совершенно необыкновенные явления припоминания, — разве одного из этих фактов недостаточно, чтобы опрокинуть это утверждение, скорее благовидное, чем основательное?

Но есть и кое-что получше. Передача детям качеств и черт родителей неопровержимо доказывает бесконечную способность живого вещества к сгущению. Ведь что такое оплодотворенное яйцо? Атом по протяжению — и, однако, в этом атоме накопились и непрестанно накапливаются все телесные признаки вида и уже немало индивидуальных признаков, не считая инстинктов, склонностей, быть может гения и зародыша самых блестящих открытий.

Однако не все ложно в мнении, будто память не только утомляется, но и стирается. Если одно воспоминание не вытесняет другое, то оно по крайней мере препятствует воспоминанию последующему, и, таким образом, для мозгового

вещества у отдельного человека есть предел насыщения; тогда как, если рассматривать его в преемстве существ, оно, напротив, обнаруживает бесконечную способность усложняться с каждым днем все больше. Это мы увидим в следующей главе.

Закончим и подведем итог. Если высший разум видит записанной всю прошедшую историю мира в одной-единственной песчинке, затерянной среди дюн, окаймляющих Океан, то конечный разум мог бы почти так же легко прочесть в душе чувствующего существа впечатления, которые оно получило, волнения, которые оно испытало, желания, которым оно предавалось, радости и разочарования, поделившие между собой его жизнь.

Глава IV. Накопление сил и причина сна

В чувствующем существе надо различать две доли: то, что оно получило, и то, что оно приобрело. — Образование слоев приобретения, или отложения: превращение восприимчивого в воспринявшее. — Чувствующая периферия и органы чувств. — Организм завладевает внешними силами и закрепляет их в себе в виде мыслей или образов бытия. — Питание. — Изменения, передаваемые путем рождения; превращение индивидуального и случайного признака в признак видовой. — Силы физические и силы психические. — Сон.

Я только что развил начало закрепления силы; я показал, как, задержанная и удержанная косной или живой материей, она оставляет в ней неизгладимую метку, способную вечно вызывать воспоминание. Фонограф — замечательный пример закрепления.

Однако если первопричина сохраняющей памяти таким образом раскрыта, остается охарактеризовать чувствующую материю и объяснить сохранение следов среди явлений

разрушения, восстановления и воспроизведения, ареной которых она непрестанно служит.

В чем состоит чувствительность? От чего зависит то качество, которое заставляет нас утверждать о каком-нибудь теле, что оно чувствительно? Сказать этого нельзя. Почему? Потому что никому никогда не удавалось создать чувствующее из нечувствующего; более того, никому никогда не удавалось даже наблюдать самопроизвольное образование чувствующего. Чтобы определить его, мы, следовательно, не можем прибегнуть к указанию, как его делают или как оно образуется. Можем ли мы по крайней мере высказать, что есть в чувствующем сверх того, что есть в нечувствующем? Никоим образом. Наш ум не начал с понятия о нечувствующем, чтобы затем прибавить к нему признаки и получить понятие о чувствующем; он пошел обратным путем. Сначала он постиг чувствующее, постигая самого себя, и лишь отвлечением пришел к понятию нечувствующего. В сущности, слово «нечувствующий» — чистое отрицание: нам не удается составить себе представление об образе существования вещи, которую оно будто бы обозначает. Потому-то для ребенка, для первобытного человека, для человека, живущего старыми поверьями, у всякой вещи есть душа[9].

[9] Подробнее см. наши «Начала психофизики», с. 153 и след.

Если таково наше неведение относительно материи и в особенности материи организованной, как можно надеяться проследить силу в самых скрытых ее проявлениях и определить характер того неизгладимого следа, который выдает ее присутствие? Увы! Объявляю сразу: мне придется прибегать к метафорам и аналогиям; впрочем, это беда довольно общая. Сколько сравнений и скрытых образов пестрит в языке науки! И

для чего служат слова «атом», «частица», «полярность», «сродство», «притяжение», «отталкивание», «упругость», «внутреннее движение», если не для того по большей части, чтобы скрывать обширные пробелы, которые есть в системе наших знаний? Однако, поскольку я не могу поставить на место иносказаний и гипотез факты и прямые опыты, я постараюсь по крайней мере, чтобы образы, к которым я буду прибегать, строго верно выражали известные ныне свойства материи — неорганической или живой.

Подобно тому как нельзя вообразить точку притяжения, находящуюся в бесконечности, или как не может существовать среда при абсолютном нуле температуры, точно так же, быть может, невозможно представить себе начальную чувствительность. Впрочем, незачем вдаваться в исследование этого вопроса, который я разбирал в другом месте[10]. Но ничто не мешает представить себе первую душу, которая образовалась, как *чистую доску*, лист бумаги без письмен. Только едва она родилась, как получила от окружающего неизгладимый отпечаток. Во все продолжение ее существования отпечатки не переставали накладываться на отпечатки; а так как она передала их, более или менее искаженными, своему потомству, ныне всякая душа, приходящая в мир, несет записанной в себе историю своего рода. Так земная кора последовательностью своих слоев указывает все превратности существования нашей планеты; так развитие яйца, из которого выйдет особь, есть верное сокращение истории ее предков.

[10] Особенно в моей «Психологии как естественной науке».

Итак, всякий организм по существу состоит из центрального ядра, покрытого наросшим отложением. Под центральным ядром я

разумею совокупность наследственных составных частей, то есть инстинктов, склонностей, качеств, которые достаются ему по наследству и которые он в свою очередь передаст почти целиком своему потомству, присоединив к ним часть собственных приобретений. Наросшее отложение есть продукт его усвояющей способности и состоит из непрерывного ряда слоев — я охотно сказал бы, образующихся ежедневно. Так что по ним можно было бы сосчитать дни, которые он прожил, подобно тому как можно угадать возраст дерева по виду его поперечного среза.

Нужно ли мне снова настаивать на метафорическом характере моих выражений? «Ядро», «слой» — слова, которыми я пользуюсь за неимением других. Они притязают лишь на то, чтобы быть образами и выражать то, что в отдельном существе приходит к нему от родителей, и то, чем оно обязано собственным приобретениям. В действительности в организме нет ни центрального ядра, ни внешних облекающих слоев. Движение его частиц усложняется — вот и все. Это ум видит в этом нарастании движения, наложенные на прежние движения. По сути, здесь единство и взаимное проникновение. Но и эти последние слова — тоже образы.

В центральном ядре нужно различать видовые признаки и индивидуальные черты, ибо индивидуальность отмечена с самого рождения. Оплодотворенное человеческое яйцо станет человеком, и притом определенным человеком. Оно содержит в себе тип человеческого вида и уже обладает в собственность некоторыми качествами, которые получает от состояния среды и от расположения своих родителей в минуту зачатия.

Отвлечемся от того, что есть в ядре случайного и индивидуального, и рассмотрим лишь совокупность его видовых свойств. Несомненно, что и само ядро есть продукт образования. У

самых отдаленных предков оно было бесконечно проще по составу. Если оно усложнилось, то потому, что слои отложения понемногу целиком или частично неотделимо прикрепились к ядру.

Отсюда возникает несколько вопросов. Как образуется слой отложения? Какие слои, прикрепляясь к ядру, передадутся лишь ближайшему потомству? Какие, передаваясь отдаленному потомству, станут таким образом частью достояния вида? Как совершается передача?

Эти четыре вопроса сводятся к разбору двух общих, основных и таинственных отправлений — питания и рождения.

Само собой разумеется, что в ту минуту, когда слой отложения только должен образоваться, то есть когда он еще слой отложения в возможности, а не в действительности, его можно рассматривать как чистую доску, становясь, разумеется, на точку зрения существа, частью которого он является. Это фотографическая пластинка, сделанная чувствительной и готовая принять отпечаток. В ней заключены свободные силы, которые могут стать тем или этим. Внешние силы, которые на нее обрушатся, тоже свободны. Но с той минуты, как удар произошел, ни те ни другие больше не свободны, они закреплены: пластинка получила отпечаток, возникший оттого, что падавшие на нее внешние лучи были задержаны и в ней превратились. Ибо, чтобы почувствовать внешнюю вещь, надо испытать ее действие и, следовательно, в известной мере его закрепить.

Отпечаток, таким образом, есть лишь продукт соединения двух родов сил: одни принадлежат чувствующему веществу, другие — ощущаемой вещи. Эти последние отныне станут частью организма как способного к ощущению; из физических, какими они были, они стали психическими.

Слой, который был чувствительным, перестал быть таковым; он стал слоем отложения. Возможность стала действительностью. Чтобы организм оставался в сообщении с внешним миром, необходимо, чтобы новый чувствительный слой поднялся на его поверхность и сыграл там роль, подобную роли своего предшественника[11]. И слои отлагаются один на другой в продолжение всей жизни животного.

[11] Мне хотелось бы иметь возможность употребить здесь и в других местах причастие «сенсибилизированный» и сказать, что чувствительный слой был *сенсибилизирован*, — подобно тому как о *полезной* вещи говорят, что она была *использована*. Но в фотографии слово *сенсибилизировать* употребляют в смысле *сделать чувствительным*. Так и *удобрить* значит *сделать плодородным*. Фотографы вынудили меня всякий раз прибегать к описательному обороту.

Таким образом, животное в каждый миг своего существования состоит из слоев, испытавших впечатления, и из слоя восприимчивого. Дадим этому последнему слою имя периферии — новый образ. Периферия — вместилище чувствительности; это она служит связующим звеном между внутренним и внешним. Через нее действие ощущаемых вещей закрепляется в глубине чувствующего вещества.

В силу самого своего положения периферия неизбежно имеет особое строение. Так, поверхностные частицы капли воды связаны между собой отношениями сцепления, которых нет между частицами внутренними. И это объяснимо. Отношения, соединяющие эти последние, — отношения частиц воды к частицам воды, тогда как отношения, связывающие первые, — отчасти отношения частиц воды к частицам не водяным. Так же и с чувствующим существом: внутри периферии есть лишь частицы, которые уже почувствовали; вне ее — вещи, которым предстоит быть почувствованными.

Не следует, однако, смешивать периферию с поверхностной оболочкой чувствующего существа. Это могут быть разные вещи. Полезно на минуту остановиться на этом пункте.

Я, если читатель помнит, разбирал понятие периферии в связи со взглядами г-на Штрикера[12]. Периферия, сказал я, может располагаться на известной глубине.

---

[12] См. выше, Введение, главу III.

Если провести очень легким телом, например волосом, по голой коже тыльной стороны руки, его обыкновенно не почувствуешь; но прикосновение будет замечено, как только волос заденет один из волосков, которые ее покрывают[13]. Этот волосок исполняет должность рычага, который умножает действие волоса. Значит, волоски служат не только для того, чтобы защищать тело от непогоды; они вдобавок обостряют чувствительность кожи. У многих животных, например у собак и кошек, можно заметить, главным образом вокруг рта или глаз, длинные и жесткие волоски, которые оживляют там осязание с целью, нетрудно понять какой. Но не следовало бы считать свободный конец этих волосков принадлежащим периферии. Они лишь ее передовые посты. Посмотрите на паука в центре его сети. Он держит по лапке на каждом из лучей, на которых держится паутина. Насекомое попадает в ловушку, и тотчас, через тронутую нить, паук угадывает, где добыча. Эти нити — искусственные продолжения его лапок. Начинается ли действительная периферия с лапок? Это было бы не невозможно, но это не так. Лапки тоже лишь органы-разведчики, которые, подобно палке слепого, благодаря своей длине и подвижности могут ощупывать почву во всех направлениях и затем являются с донесением в главную квартиру о результатах своих разысканий.

[13] См. наши «Начала психофизики», с. 209.

На какой именно глубине начинается периферия в том смысле, какой я придаю этому слову? Сегодня сказать это было бы невозможно; но она, несомненно, не простирается по поверхности тела. Быть может, она располагается в поверхностном слое центральной нервной системы, быть может, где-нибудь еще. Даже глаз — не периферический орган. Это лишь нечто вроде передового отряда, дело которого — доставлять сигналы в середину крепости. Можно давно утратить зрение и сохранить способность представлять себе перспективы, краски, свет и тени.

Органы служат нашим чувствам помощниками, наподобие наших физических приборов[14]. Строго говоря, термометры, барометры, электрометры, компасы, телескопы, микроскопы, спектроскопы восполняют не несовершенство чувств, а несовершенство этих помощников. Телескоп не делает наше зрение острее; его действие ограничивается тем, что он собирает в глаз больше света. Палка слепого, зонд хирурга не обостряют чувства осязания; они служат лишь для того, чтобы доставлять ему полезные указания издалека; они удлиняют руку или кисть. Точно так же можно сказать, что паутина есть продолжение тела паука. И когда телеграф мгновенно передает нам из разных точек земного шара температуру, давление, направление ветра, состояние неба, — это все равно как если бы мы соткали вокруг себя огромную сеть, все нити которой сходились бы к нашему мозгу.

[14] См. там же, с. 216 и след.

Итак, нужно отличать чувствующую периферию от поверхностной коры, которая служит одновременно и для того, чтобы ее защищать, и для того, чтобы передавать ей, усиливая и направляя

их, движения извне. Впрочем, это неважно. Для моей цели достаточно установить, что периферия, чтобы исполнять свою роль, должна не только располагать хорошо устроенными органами, но и быть нейтральной, то есть свободной от всякого прежнего впечатления. С той минуты, как она, подобно фотографической пластинке, получила изображение, она уже непригодна, чтобы принять другое. Должна образоваться новая периферия, которая в свою очередь получит изображение, и так далее.

Жизнь чувствующего существа, следовательно, можно сравнить с альбомом или атласом, к которому непрестанно прибавляют новые листы. Это сравнение, которое нам и дальше пригодится, достаточно точно. Недостает ему лишь того, что оно не выражает действия этих слоев друг на друга, их взаимного проникновения и распространения их влияния вплоть до центрального ядра.

Ближе к истине было бы уподобление чувствующего существа упругому веществу, все частицы которого колеблются под толчками различных систем волн, исходящих от сотрясений, сообщенных его поверхности. Так поверхность спокойной воды, возмущенная падением брошенных в нее тел, показывает нам волнистые круги, накладывающиеся одни на другие. Так и в театре, если мысленным взором рассмотреть тонкий слой воздуха, мы увидим, как он трепещет под тысячей голосов оркестра, актеров и зрителей и передает перед собой их многообразные и непрестанно меняющиеся переливы, или как каждая частица эфира передает из одного конца зала в другой одновременно все световые явления, которые там происходят.

Но и это сравнение оставляет желать лучшего. Вода, воздух возвращаются в состояние покоя. Душа — инструмент, на котором

можно без конца исполнять новые напевы, но который сам собою повторяет и вечно поет под сурдинку и без путаницы те, что некогда на нем играли. Это тетрадь фонографических листов.

Если взглянуть на дело с высоты, животное, следовательно, проводит все свое существование в том, что завладевает внешними силами посредством своей непрестанно обновляемой чувствительности.

Тем самым я отхожу от мнения, которое обычно в ходу и которое видит жизнь в разрушении сил, восстанавливать которые берут на себя пища и сон. Напротив, я сближаюсь с образом мыслей г-на Сергеева, который видит в деятельности бодрствования накопление сил. И в самом деле, читатель, который читает эти строки и прилагает известное усилие, чтобы их понять, без сомнения, тратит силу; но эта трата послужила тому, чтобы закрепить в его мозгу другие силы в виде мыслей и способов чувствовать, которые отныне станут частью его существа, будут повсюду его сопровождать и просочатся во все его последующие мысли.

По видимости, он также разрушает нервное вещество, входящее в состав его глаза, его зрительного нерва, его головного мозга; в действительности он его обездвиживает. Оно было свободно в том смысле, что могло быть употреблено на чтение романа, на созерцание пейзажа, статуи, картины, на занятия с микроскопом; теперь оно закреплено, вот оно стало философом, и ни к чему другому оно уже не пригодно. Оно снято с места, которое занимало, и отправлено в хранилище, где однажды может быть взято снова. Ему на смену придет более свежее нервное вещество, которое вскоре в свой черед получит свое назначение. Недавние исследования зрительного вещества сетчатки придают этим метафорам живую точность. Так, отделившись от дна моего

глаза, где-то во мне и без моего ведома отложилось изображение названия *asplenium*.

Где организм находит, чем непрестанно восполнять себя новыми веществами взамен тех, которые он употребил? В своей пище, которую ему доставляет окружающий мир и прежде всего другие организмы. По всей вероятности, он выбирает именно те, которые имеют сродство с его собственным веществом, и потому-то он и может их усвоить. Однако как бы велико ни было это сродство, усвоение никогда не может быть полным, и потому питание непременно включает отправление, которое удаляет все, что не поддается усвоению. Переработка посторонних составных частей не бывает и не может быть мгновенной. Они оказывают сопротивления, происходящие от давних привычек, — сопротивления, которые существо, поглотив их, должно сломить там, где они обнаруживают нечто враждебное его собственной природе. Одним словом, оно должно подчинить своему порядку видимые или скрытые силы, способные к усвоению. Эта работа требует времени; и конечный итог ее — согласование сил, прежде независимых.

Пишу эти строки, а у меня, можно сказать, еще стоит перед глазами — так живо было во мне впечатление — зрелище превращения одного существа в другое. Я смотрел в микроскоп и созерцал медленные и причудливые движения огромной амебы, которая ползала в поисках добычи. Она вытягивала из своего собственного студенистого вещества бесформенные руки, которые изгибались во все стороны, удлиняясь, укорачиваясь и непрестанно меняя место, откуда выходили. Вдруг одна из многочисленных монад, которые живо и беззаботно кружились в жидкости, где плавал этот левиафан, попадает в одну из впадин, которые были на теле амебы; в тот же миг впадина смыкается —

и зверек пойман. Он был там заперт, как в бассейне без выхода, и в лихорадочной тревоге обегал его стенки, которые все сужались; и вскоре бедное маленькое животное могло уже только вертеться на месте. Но скоро всякое движение стало для него невозможным; студенистая стенка облегала его; незаметно его очертания исчезли, и под конец от него осталось лишь черное зернышко, которое прошло насквозь через вязкую массу и было выброшено наружу способом, обратным тому, каким вошло. Монада почти целиком стала амебой и отныне должна была изощряться в ловле других монад.

Так же мы видим, как пленные слоны усердно помогают своим хозяевам лишать свободы своих диких собратьев. Цыпленок — который прекрасно играл свою роль цыпленка, — если его съест лиса, станет лисой и в свою очередь будет есть цыплят. Если его съест человек, он станет человеком; и если этот человек — танцор, он будет танцевать; если кузнец — будет ковать; если счетчик — будет считать; если философ — будет размышлять; и он закрепится либо в ногах или руках, либо в шишке счета или в шишке причинности. Чтобы принять эти образы и понять их верность, достаточно подумать, каким долгим упражнениям некоторые ремесленники должны подвергать свои члены, чтобы придать им необходимую гибкость, ловкость, сноровку.

Слои отложения, следовательно, различаются между собой большей или меньшей выучкой составляющих их элементов. Одни совсем укрощены; в других еще господствует дух непокорства. Первые исполняют, даже вдали от хозяйского глаза, исправно и точно порученное им дело — это своего рода органы; вторые нуждаются в постоянном надзоре. Но первые почти неспособны делать что-либо иное, кроме того, что они делают; у

вторых есть свободные способности, и их можно обучить всевозможным ремеслам.

Эти соображения дают нам ответ на два вопроса, которые следуют за первым. Больше всего возможностей передаться ближайшему потомству у тех слоев, которые образовались раньше всех, наиболее однородны или лучше всего согласованы во всех своих частях. Или же, если на минуту оставить мою излюбленную метафору, дети унаследуют самые сильные и самые закоренелые привычки родителей, сведенные к состоянию предрасположений или наклонностей. Если обстоятельства благоприятствуют этим предрасположениям и развивают их, если это повторяется без перерыва в продолжение длинного ряда поколений, то, что было лишь индивидуальным и случайным признаком, станет признаком видовым. Незачем дольше на этом настаивать. Тех, кто *a priori* отвергает начало превращения видов, не убедят применения, которые я мог бы попутно сделать из него в теории сна и сновидений.

Вот мы и получили понятие об образовании центрального ядра, этого своего рода механизма, сложенного из привычек — унаследованных от предков или личных. Если мы не можем восходить к его первоначальному происхождению и предсказать его окончательный конец, мы можем по крайней мере путем размышления восстановить его прошлое и угадать его будущее.

Вернемся к пище и попытаемся точнее охарактеризовать род превращения, которое претерпевают вносимые ею в организм силы.

Чтобы действовать, организм должен расходовать известную энергию — энергию, которая проявляется вовне как теплота или как движение. Силы, которые в нем есть, истощаются и переходят в другое место. Чтобы сохранить свою целость и снова прийти в

состояние, пригодное для действия, он должен их восполнить; и они возвращаются ему пищей, которая, помимо прочего, есть сгущенные теплота и движение.

Но, кроме этой внешней работы, видимой всем, в нем совершается работа совершенно внутренняя, которая открывается лишь ему одному, по крайней мере отчасти. Эта работа, хотя она тоже может сопровождаться тратой сил, приводит к совершенно иному итогу — к накоплению сил. Память и опыт, недоверчивость или доверчивость, хитрость или смелость, которые из них вытекают, наука, дар открытий и совершенствование человечества — вот в разных областях мысли поразительные примеры накопления сил. Переносное употребление слова *усвоить*, которое по своему происхождению значит *сделать своим, взяв*, основано на инстинктивном и глубоком чувстве действительности. Знать — значит *у-своить*.

Эти накопленные силы, поскольку они служат проявлению чувствительности, получают особое имя *психических*. Итак, питание служит двум целям: оно поддерживает движение организма, восстанавливая его физические силы, и накапливает в нем силы психические.

Иной ли природы физические силы, чем психические, или они способны превращаться в психические? Большой вопрос, которого, к счастью, мне нет нужды касаться.

Скажу лишь одно. Вот почтенный судья, который, удобно расположившись в кресле, со всем возможным вниманием следит за прениями по важному делу, слушает показания свидетелей, речи адвокатов и от усталости под конец засыпает тем сном, который зовут судейским. То, что с ним происходит, есть следствие продолжительного умственного труда, или, говоря моим языком, закрепления его чувствительности. В пору каникул

этот же судья с самого утра отправляется на охоту, ружье на плече, ягдташ за спиной, гоняется по равнине за зайцами и куропатками, а потом, изнемогший, опускается у подножия дерева и засыпает. На этот раз он истратил, несомненно, физические силы. И все же не кажется ли вам, что силы, которые гонятся за дичью, — те же самые, что в суде произносят приговоры?

Как бы то ни было, механизм того накопления, о котором я говорю, понятен. Силы, заключенные в непрестанно обновляемой периферии, задерживают на пути внешние силы, которые с ними встречаются, завладевают ими и соединяются с ними; равнодействующие этого соединения сгущаются в организме в виде стремлений, отвращений или желаний, способностей, привычек или инстинктов. Кто пил, тот и будет пить, говорит народная мудрость, — это о стремлениях; кто умел плавать, тот, упав в воду, поплывет, — это о способностях.

Работа питания в ее отношениях с чувствительностью позволяет нам воочию увидеть причину сна и его периодичности. Пища, которая накапливается в теле, служит или служила, среди прочих отправлений, образованию периферического чувствительного слоя. Этот слой теряет свою чувствительность от самого употребления, которое из нее делается; и так наступает миг, когда в нем больше нет чувствительных элементов и он, следовательно, уже не способен откликаться. Тогда нами овладевает сон — сон, знак того, что между нами и внешним миром встала преграда. Время этого оцепенения употребляется на восстановление чувствительности, и, по мере того как работа продвигается, сон отступает, незаметно уступая место пробуждению. Сон, следовательно, не отправление; это сопутствующее следствие. Он и не восстанавливает силы. Правда в том, что он появляется, когда чувствительность притуплена, и

исчезает, когда она возвращается. Быть может, оба эти положения даже чистые тавтологии. Естественный или искусственный, сон всегда сопровождается более или менее обширной, более или менее глубокой нечувствительностью. Причина одного есть причина другого.

Глава V. Память организованной материи и конец умственной вселенной

Рождение. — Объяснение Геринга: как признаки родителей запечатлеваются в зародыше. — Размножение делением. — Половое размножение. — Бессмертие чувствующей материи.

Мне остается разрешить последний вопрос: как совершается передача центрального ядра? Строго говоря, я мог бы и не разбирать его в связи со сновидением. Но замечу прежде всего, что если мои сны отражают характер натуралиста или философа, а также случайного ботаника, который под диктовку друга вписывает название *asplenium*, то еще существеннее то, что это сны *человека*, и этим качеством они обязаны ряду моих предков. Так я касаюсь задачи о возможности «опыта, унаследованного от предков». Далее, следует спросить себя, что становится с силами, закрепленными существами, которые обречены на смерть. Наконец, не надо забывать, что это исследование начинается с чрезвычайно общих соображений о начале и конце физической вселенной и что я старался также взять чувствительность как можно ближе к ее истоку. А решение задачи о размножении живых существ способно пролить некоторый свет на конечную цель борьбы за существование. По всем этим причинам страницы, которые сейчас последуют, — не просто отступление.

Рассматриваемое в своей причине и в своем произведении, явление рождения поистине способно повергнуть ум философа в восхищение и оцепенение. На каком бы способе размножения ни остановилась его мысль — делении, гермафродитизме, половом размножении, — его разум остается в замешательстве. И человек, человек, наделенный сознанием и способностью размышлять, человек, так гордящийся своим разумом и так громко провозглашающий свою свободу, разделяет с самыми малыми созданиями инстинкт, который он подчас зовет животным; властная, неодолимая сила в известные минуты влечет его в объятия женщины, которая со своей стороны повинуется такому же влечению; бесконечно малая частица его тела отделяется, смешивается с другой бесконечно малой частицей тела женщины — и образуется новое человеческое существо.

Это существо, плод проникновения вещества яйца веществом сперматозоида, — ибо, по новейшим исследованиям, для оплодотворения яйцеклетки требуется лишь один из этих элементов, — это существо, говорю я, которое получает от отца лишь одну-единственную частицу, столь ничтожную, что нужны сильные микроскопы, чтобы сделать ее видимой, и которое будет развиваться, уже не имея с ним никакой связи, — это существо воспроизведет не только тип вида, но часто, вплоть до черт лица, цвета кожи, расположения зубов, цвета волос и радужной оболочки, в своих болезнях, в своем характере, в своих недостатках и достоинствах, явит живой образ того, кого принято называть виновником его дней. И это влияние сперматозоида сказывается сквозь все случайности питания, воспитания и течения лет. Иногда — вещь не менее удивительная — во внуке обнаруживается облик деда. Видно даже, как та или иная примета рода или семьи сохраняется через длинный ряд поколений,

несмотря на всевозможные скрещивания. Наконец — и это, на мой взгляд, самая непроницаемая из всех тайн — это сходство с отцом обнаружится у дочери. Так что этот человек завещает своему ребенку форму бровей, зубов или ногтей и не передаст ему своей бороды и других признаков своего пола!

В этом последнем наблюдении — глубокий предмет для изучения. Оно доказывает, как мне кажется, что половые признаки у сперматозоида и яйца выражены слабее, чем можно было бы подумать с первого взгляда, и что, быть может, пол ребенка зависит от внешних обстоятельств, а вовсе не от внутреннего состава оплодотворяющих элементов. Как ни трудно понять, каким образом микроскопическое тельце может быть столь верным носителем многочисленных и тонких признаков, приходится склониться перед фактом.

Остроумный мыслитель наших дней, г-н Геринг, профессор Пражского университета, в замечательной лекции о *памяти организованной материи* воспользовался удачным сравнением, чтобы наглядно показать, как один элемент может в возможности заключать в себе общие признаки целого. Организм, говорит он, подобен определенной кривой, свойства которой обнаруживаются в самых малых ее отрезках. Настолько, что, если мы проникнем в форму бесконечно малой части этой кривой, мы сможем восстановить ее целиком. Астрономы каждый день вычисляют орбиты планет, их спутников или комет, зная лишь часть этой орбиты. Нет ничего очевиднее. *Дуга окружности или эллипса*, как бы коротка она ни была, может принадлежать лишь этой окружности или этому эллипсу, и, следовательно, достаточно определить ее форму, чтобы начертить всю кривую, от которой она отделена.

Что мы говорим о кривой, то можем сказать и о поверхности, и о теле. В двух каплях воды не удалось бы найти двух одинаковых молекул, двух молекул, которые можно было бы поменять местами. Лейбниц выразил ту же мысль в своем начале тождества неразличимых.

Однако кто доказывает слишком много… остальное известно. Конечно, малейшие частицы любой особи не имеют ничего общего с самыми неотличимо похожими частицами другой особи, будь она даже того же вида. И все же, с одной стороны, явления питания каждый день являют нам зрелище поглощения и превращения индивидуальностей. Устрица, которую глотает лакомка, в известный миг перестает быть собой, чтобы стать им. С другой стороны, если каждая молекула живой особи отмечена печатью этой особи и если в этом смысле можно сказать, что она несет ее изображение, то любая молекула, вообще говоря, не обладает способностью породить существо, подобное тому, из которого она взята. Самое большее, у нее есть способность при повреждении восстанавливать соседние части. Хотя и в этом есть явление того же порядка, что и рождение, расстояние огромно. Ибо зародыш не только есть обособленное истечение, не только получил оттиск печати, свойственной выделяющему его организму, — он есть его уменьшенное изображение, полное и верное. Так и дуга окружности или эллипса, обладая признаками, присущими этой окружности или этому эллипсу, все же сама по себе не есть ни окружность, ни эллипс. Одна лишь прямая линия, линия однородная, обладает тем свойством, что ее элементы во всем подобны ей самой. Самые малые ее части имеют в точности ту же фигуру, что и целое.

Чтобы понять образование зародыша, мы должны свести явление рождения к его простейшему выражению и рассмотреть

его в самом первобытном его виде — делении. Это был единственный способ, принятый у первых существ; он и сегодня самый распространенный, если подумать о неисчислимом множестве низших организмов, которые размножаются этим путем, и о столь же непостижимом числе органов и тканей, у которых нет иного способа расти. Ибо всякий рост или всякое образование надо рассматривать как рождение. Как же совершается размножение делением? Организм, достигнув известной степени зрелости, делится на две половины, из которых каждая через некоторое время воспроизводит материнскую фигуру.

Мы не знаем, какой причине надо приписать деление рождающего организма. Наш глаз — даже с помощью самых сильных увеличений — часто не замечает в нем никакого молекулярного изменения. Мы лишь догадываемся, что нужна известная подготовительная работа, раз это деление совершается самопроизвольно лишь после того, как организм достиг известной степени развития и переработал известное количество посторонних веществ.

Мы не знаем также, почему каждой половине удается воспроизвести фигуру целого. Однако — если принять факт размножения — мы без труда понимаем, что деление целого, взятого в *однородной* фазе, — я с умыслом подчеркиваю это слово, — дает части, подобные по фигуре этому целому, и что благодаря питанию они в конце концов сравниваются с ним по величине и в свою очередь делятся. Как я сказал, тайна не прояснена, она лишь сведена к своему простейшему выражению.

Рядом с этим столь простым способом размножения появился другой, требующий участия двух особей. На первый взгляд кажется, что между половым размножением и делением нет

ничего общего. Одно довольно естественное соображение может заполнить эту пропасть.

Каждая половина низшего организма, размножающегося делением, должна в конечном счете восполниться, и восполниться половиной, отличной от нее самой. Когда существо самопроизвольно делится, значит — приходится это признать, — внутри его вещества возникла противоположность и вся масса подчинена действию поляризованных сил. Две половины, следовательно, не тождественны, несмотря на порой обратную видимость. Уже с чисто геометрической точки зрения тело, будь оно даже симметричным, разделилось бы на две половины не равные, а обратные одна другой, как обе руки, и левая половина не могла бы занять место правой. Назовем же — и в этом, быть может, мы не слишком удалимся от истины — одну из этих двух половин мужской, а другую женской. Известно, что первой недостает ее женской половины, а второй — ее мужской половины. Каждая из них примется за работу переработки, чтобы добыть то, чего ей недостает. Но при половом размножении эта работа избавлена. Две половины, необходимые для образования полного существа, происходят от двух особей противоположного пола и соединяются в акте зачатия. Короче, происходит слияние противоположных произведений двух делящихся организмов[1].

[1] Если бы этот взгляд был обоснован, из него следовало бы, что яйцо — элемент мужской, а сперматозоид — элемент женский. Это довольно странное следствие, и, однако, им объяснились бы многие довольно затруднительные особенности, например та, по которой неоплодотворенные самки некоторых насекомых, в том числе пчел, производят на свет одних только самцов. Краткое доказательство этого парадокса не будет неуместным. Пусть, с одной стороны, организм AB делится на две половины A и B, одну мужскую, другую женскую. Пусть, с другой стороны, подобный ему организм CD так же разделяется на свои две половины C и D. Возможны три случая. *Первый случай.* A, B, C и D будут создавать каждая для себя, с помощью питания или без нее, путем внутренней переработки, которая в

сущности будет своего рода совокуплением, то, чего им недостает, а именно A и C — свое женское дополнение, B и D — свое мужское дополнение. *Второй случай.* A соединится с D, а B с C; это своего рода гермафродитизм. *Третий случай.* Только B соединяется с C, а A и D восполняются, как в первом случае, каждая отдельно сама по себе. Это половое размножение. Восстановившаяся A произведет теперь новую B, которая соединится с новой C, порожденной восстановившейся D; и та же игра будет повторяться без конца. Так что A дает лишь B, а D — лишь C, и соединяются именно эти B и C. A и D — деревья одного вида, но разного пола, которые покрываются однополыми цветами. И видно, раз A несет женские цветы, а D — мужские, что цветы противоположны по полу тому растению, от которого происходят. Итак, в сущности, мужское растение рождает женские цветы, а женское — мужские. — Вопрос слов, скажет кто-нибудь. Быть может. — Я подробнее исследовал эти вопросы в своей работе «Происхождение смерти», которая появилась в «Философском обозрении» (1884) и вскоре будет напечатана отдельно. К ней я и отсылаю читателя.

Дойдя до этого места, я у конца своей задачи. Что такое яйцо? Что такое сперматозоид? Это простые произведения деления того, что я назвал центральным ядром, и потому, естественно, у них все его качества, все его признаки. Ядро сохранило первобытный способ размножения, и на деле другого не существует. Живое вещество может достигнуть чудесной степени сложности, не переставая при этом обладать относительной однородностью. Так, наступает миг, когда вещество куколки уже не содержит никакого следа разнообразия тканей, из которых состояла гусеница; тогда она находится в своей однородной фазе. С этого мига начнет появляться тело взрослого насекомого. Органы размножения в своих периодических процессах, вероятно, проходят подобное же развитие. Отделению зародыша предшествует и за ним следует состояние смешения и соединения элементов, составляющих ядро. Ядро — опора особи. Вокруг него отлагаются слои отложения, которые со временем отождествляются с ним, прибавляя к нему новые свойства, новые стремления, новые способности.

Где находится это ядро? Сегодня было бы трудно это определить. Более чем вероятно, что оно в головном мозгу и в тесном единении с органами размножения. Но эта задача выше нынешней науки. Питание и рождение дают чувствующей материи истинное бессмертие. У особи усвояющая способность имеет предел — смерть. Смерть наступает обычно, по крайней мере у человеческого рода, после долгого периода, когда сила усвоения значительно замедлена, и, говоря вообще, это замедление почти всегда совпадает с появлением способности к рождению.

Но это исчезновение особи призрачно; она обнаруживается снова — не в переносном смысле, а в действительности — в своих потомках. Будь она даже бесплодна, ее действие не пропало бы и обнаружилось бы в ее окружении, которое плодовито. Это, впрочем, и происходит с силами, накопленными человеком после зрелого возраста. И, наконец, если, преследуя трудность до конца, спросить себя, что становится со способностями, приобретенными отшельником, пусть подумают, как мало мы знаем способ действия пищи. Человек питается говядиной, а не травой, и, однако, мясо быка — лишь трава, переработанная известным образом. Пропадает ли эта переработка, когда быка зарывают в землю?

Если с той точки, до которой мы дошли, окинуть общим взглядом борьбу за существование, ареной которой служит этот мир, видно, что ее высший итог — сосредоточить все психические силы существ, собрать в факелы искры ума и разума, которые светятся в самой скромной чувствующей особи, и заставить их служить в конечном счете самым сложным проявлениям разумной жизни в человеческом роде, который, быть может, в свою очередь лишь готовит элементы, предназначенные для того,

чтобы ими воспользовался высший род. Вся вселенная движется к мысли. Выжить суждено самому разумному[2].

[2] К этому же выводу я пришел в своей статье «Математический закон, применимый к теории трансформизма» («Научное обозрение» от 23 января 1877 г.).

ВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ ПАМЯТЬ

✦

Глава I. Психическое тождество. Организм с привходящим органом. Организм с постоянным органом

Тождество по веществу и тождество по форме. — Сведение задачи о тождестве к простейшему ее виду. — Мгновенный привходящий орган ощущения — условие контраста и связи между настоящим и прошлым, а также упражнения способности к временному сохранению и временному опыту. — Постоянный орган: его образование, его отправление, его способность к совершенствованию, его преобладание. — Ассоциация впечатлений и движений.

Мы сказали, каково происхождение сохраняющей памяти. Остается заняться памятью воспроизводящей.

Недостаточно знать, почему впечатление сохраняется навсегда; нужно еще объяснить, как оно может возобновиться. Душа — зеркало, которое не только отражает предметы, находящиеся перед ним, сохраняя в то же время отметины тех, что поражали его прежде, но которое, кроме того, способно отбрасывать прошлые образы и давать им перевес над образами нынешними. Во всяком акте воспроизведения прошлое снова становится настоящим, или же, если переставить члены, воспроизводящее существо снова становится отчасти и на время тем, чем оно было. Над задачей воспроизводящей памяти господствует предварительный вопрос — вопрос о постоянном психическом тождестве этого существа.

Психическое тождество отличается от тождества по веществу и от тождества по форме.

О расплавленном воске, у которого уже нет ни плотности, ни формы, ни цвета, ни запаха вещества, из которого состоят пчелиные соты, мы говорим, что это тем не менее то же самое вещество, у которого изменился лишь образ существования. Тождество по веществу мыслят, но не наблюдают.

Мы говорим также о часах, в которых заменили пружину, что это все те же часы. Если бы их обновили целиком, деталь за деталью, мы продолжали бы это утверждать. Наше утверждение опиралось бы на сохранение формы и непрерывность употребления.

Но не постоянство вещества и не постоянство формы заставляет нас верить, что бабочка и гусеница — одна и та же особь. Будем ли говорить о форме? Каких только перемен не претерпело насекомое и в своем строении, и в своем облике! Ведь ни голова, ни ноги, ни нервы, ни мышцы гусеницы не встречаются у бабочки. А что до его вещества, то оно почти целиком взято из органического мира и, кроме, быть может, вещества яйца, обновлялось, говорят, несколько раз в течение его существования[3].

[3] Об этом пункте, по меньшей мере спорном, см. мое исследование «Происхождение смерти».

Более того: последовательные состояния так называемой косной материи исключают и отталкивают друг друга. Вода может быть в твердом, жидком или газообразном состоянии; но, будучи льдом, она не пар, и ни одно из этих состояний не есть причина одного из двух других. У чувствующего существа, напротив, происходит непрестанное сгущение его последовательных состояний; и ничего подобного не обнаруживается — по крайней мере с этим

характером и в этой степени — в неорганической природе. Одним словом, история неразумной материи записана лишь в разумной материи и исключительно для ее пользования. Бабочка содержит в себе гусеницу, она и есть гусеница. Гусеница воплотилась в нее и передала ей следствия своих прошлых радостей и страданий. Но насколько очевиднее было бы это переливание, если бы мы могли быть уверены, что бабочка помнит, что была гусеницей, и говорит о ней как о себе самой! Настолько память есть яркий признак постоянства существа и сохранения в нем прошлых состояний.

Какова причина этого постоянства? Где пребывает это сохранение? Вопросы трудные и темные. Конечно, они не таковы, они даже перестают быть вопросами для того, кто допускает, что существуют духовные субстанции, отличные от субстанций материальных. Ему уже незачем искать происхождение свойств, которые, как он утверждает, принадлежат к собственной сущности душ и служат для ее определения. За неимением лучшего можно, без сомнения, и должно довольствоваться этим подобием решения. Было время, когда боязнь пустоты, ныне оставленная, была принята в науке. Еще недавно жизненное начало, теперь оставленное так же, имело в ней права гражданства. Но хотя не запрещено думать, что придет день, когда понятие о духе, существующем самом по себе, отойдет в прошлое, пока что на тех, кто уже теперь его отвергает, тем не менее ложится обязанность принять и решить задачу в тех точных пределах, в какие ее заключили спиритуалисты.

Всякую задачу, чтобы браться за нее с некоторой надеждой на успех, надо свести к ее простейшему выражению. Попробуем же объяснить себе индивидуальное постоянство существа, у которого чувствительность находилась бы в зачаточном состоянии.

В самом упрощенном своем виде животное по существу составлено из частицы материи, наделенной общей чувствительностью и подвижностью. Общая чувствительность — простая способность испытывать неопределенные чувства удовольствия или страдания. Под подвижностью я разумею способность двигаться, зная, что движешься. Упражняя эту способность, животное узнает, что некоторые его ощущения — дело его воли, откуда оно заключает, что остальные приходят к нему из мира, отличного от него самого. Это первоначальное различение — исходная точка приобретения последующих понятий. Без подвижности невозможны ни восприятие, ни ум, ни опыт, ни прогресс. Подобно тому как мы не можем представить себе зарождение чувствительности, мы не можем и указать начало подвижности. Мы без труда понимаем подчинение воли правилу и, следовательно, превращение первоначально свободных движений в движения необходимые; нам невозможно вообразить, как свобода и воля могут выйти из сочетания роковых сил.

Но если существенные свойства животного вещества не кажутся нам способными ни родиться, ни умереть, то особь, напротив, представляется нам ограниченной во времени, как ограничена она в пространстве. В этом — тайна, до сих пор не проницаемая. К счастью, мы можем, оставив ее в стороне от нашего пути, попытаться представить себе особь такой, какой она была бы при своем предполагаемом вступлении в жизнь. В ней никакого следа строения или какого бы то ни было разделения на части; ни органа, ни отправления; она однородна — насколько что-либо может быть однородным в среде по существу разнородной. Никакое изменение, а следовательно, никакое ощущение, никакое хотение, никакое движение не возникали бы в

ней, если бы среда не менялась. Но так уже не будет, как только где-нибудь вне ее обнаружится нарушение равновесия. Движение, которое за ним последует, в конце концов достигнет ее периферии и ударит ее в какой-нибудь точке. Из восприимчивой, какой она была, периферия начнет становиться воспринявшей впечатление. В течение ощутимого времени впечатление останется местным; ибо его распространение, встречая сопротивления в первоначальном строении чувствующего вещества, не охватит мгновенно всех точек. А в течение всего этого времени существо будет одновременно и в том состоянии, в котором оно находилось до появления на сцене причины, производящей впечатление, и которое уже можно назвать прошлым, и в новом состоянии, которое эта причина в нем порождает и которое можно назвать настоящим. Этому месту, где сперва дает себя почувствовать действие внешней причины, я дал имя *мгновенного привходящего органа* ощущения[4].

[4] См. наши «Начала психофизики», с. 197 и след.

У животных, стоящих на самой низкой ступени лестницы организмов, например у монер, других органов нет. Так как среда, в которой они живут, естественно, никогда не бывает в покое, об их периферии можно сказать, что она служит местом непрестанного образования мгновенных органов ощущений. Два слова пояснения. Вот существо, чувствительное к теплоте. Этот деятель, для восприятия которого у нас, по-видимому, нет особого органа, как нельзя лучше помогает нам уловить характер и роль привходящего органа. Представим себе это существо погруженным в среду однообразной температуры: оно не испытывает никакого ощущения. По соседству с ним загорается очаг теплоты: его периферия будет этим затронута. Однако при

прочих равных условиях изменение сперва даст себя почувствовать на стороне, обращенной к очагу. Понадобится время, чтобы нарушение равновесия, которое служит его знаком, от ближней к ближней охватило все молекулы и заставило их принять окончательное расположение, во всем отвечающее состоянию среды. В течение всего промежутка, который протекает между началом и концом этого *процесса*, существо подвергается контрасту, и именно этот контраст служит мерой ощущения. Логарифмический закон Фехнера, истолкованный психологически, показывает нам в самом деле, что ощущение есть выражение отношения между нынешним состоянием органа и состоянием, которое непосредственно ему предшествовало.

Мало чувствовать; надо уметь направлять свои движения вслед за суждением о состоянии среды. Привходящие органы служат воле проводниками; их отправление, таким образом, тесно связано с той способностью, которую назвали инстинктом самосохранения, и притом двумя способами. Во-первых, они подают свои предупреждения вовремя, то есть прежде, чем изменение, наступившее в среде, охватит весь организм. Кроме того, благодаря им животное, которое это изменение — приятное или неприятное — побуждает переменить место, в конце концов находит, в каком направлении лежит цель его желаний. Итак, они служат для него временными орудиями опыта или, точнее, разведки. Так, если вы сидите в ванне и открыт кран горячей воды, ближайшая к струе часть вашего тела непрерывно доставляет вам точные указания, которыми вы не преминете воспользоваться.

Было замечено, что нужно оставаться тождественным самому себе, чтобы судить, что что-то меняется. Как видим, это замечание верно, но неполно. Если бы животное не менялось, у него не могло

бы быть понятия об изменении. Но так как изменение в нем начинается с того, что оно местное, его жизнь состоит в *непрерывной* смене суждений *сравнения*; каждый миг в ней, таким образом, *тесно связан* с предыдущим, и непрестанное образование привходящих органов, непрестанно связывая нынешние впечатления с прошлыми, тем самым есть единственное и достаточное основание *постоянной психической индивидуальности* животных, даже самых простых[5].

[5] Г-н Клейненберг (профессор в Мессине) доказал, что у пресноводной гидры одни и те же клеточные элементы служат сразу ощущению, восприятию, хотению и мышечному возбуждению и что каждый мышечный элемент сам есть лишь часть каждой из этих клеток. (*Hydra, eine anatomisch-entwickelungsgeschichtliche Untersuchung*, 1872).

Опыт, который может приобрести животное, снабженное только привходящими органами, всегда относится к его нынешнему положению; из прошлого оно не может извлечь уроков для будущего. Последовательные состояния связаны в нем непрерывностью, а не проникновением. Каждый миг его существования прикреплен прямо к тому, который непосредственно ему предшествует, а не к другим, более отдаленным мигам. Можно сказать, что для него далекого прошлого больше не существует.

Иначе обстоит дело, если к привходящим органам, непрестанное образование которых поддерживается одной лишь природой вещей, присоединяется орган *постоянный*. Что такое постоянный орган? Это всякое место периферии, наделенное более живой чувствительностью, чем соседние точки.

Как образуется постоянный орган? Как все постоянное — непрерывным действием одной и той же причины, как бы слабо оно ни было[6]. Привходящий орган, как мы видели, есть

произведение временного изменения в каком-нибудь месте периферии животного. Если причина изменения исчезает, это место будет стремиться вернуться в свое первоначальное состояние. Но, как мы знаем, этого ему не удастся. В силу начала закрепления силы в нем останется какой-нибудь след действия, которому оно подверглось. Изменение, которое оно испытало, так видоизменило его строение, что оставило ему известную способность подвергаться этому изменению, так что, если его поразят во второй раз тем же образом, оно меньше будет медлить с ответом на действие причины, производящей впечатление. Когда эта последняя умножает свои удары в одном и том же месте, молекулы там в конце концов примут расположение, способное приводить их без усилия и немедленно в согласие с ней. Так стальной брусок, подвергнутый влиянию магнита, приобретает магнитные свойства, с каждым мгновением все более сильные.

[6] См. мою статью «Математический закон, применимый к теории трансформизма» в «Научном обозрении» от 13 июля 1877 г.

Итак, если по какой-нибудь причине известное место периферии чаще приходит в соприкосновение с определенным деятелем, это место будет все более способно обнаруживать его присутствие и из привходящего органа, каким оно было вначале, незаметно превратится в орган постоянный. Вот почему, если какая-нибудь сторона животного подвержена толчкам — что случится, например, когда животное приобретет привычку двигаться всегда в излюбленном направлении, — эта сторона в конце концов обзаведется усиками, щупальцами, руками, которые будут служить ему, чтобы направлять свой путь, избегая препятствий. Отсюда же и то, что органы зрения расположены на стороне, обычно обращенной к свету. Более того, молодые калканы, как известно, имеют симметричное строение; с возрастом они

привыкают ложиться на бок, и тогда у них наблюдается постепенное перемещение одного из глаз, который переходит на верхнюю сторону, то огибая череп, то даже проходя сквозь него насквозь[7].

[7] См. «Обозрение естественных наук», VI, сентябрь 1877 г., записку Агассиса и примечание А. Жиара.

Превращение привходящего органа в постоянный, совершенно физическое по своей причине, имеет важные психологические последствия. Всеми свойствами привходящего органа обладает и постоянный орган; но у него есть и другие, принадлежащие только ему. Тогда как первый не берет и не может брать на себя никакого почина, тогда как его роль — роль часового, который окликает «*Кто идет?*», когда что-нибудь подозрительное поражает его слух или взгляд, постоянный орган имеет более высокое назначение: он выдвигается на передовые посты, обследует местность, предупреждает опасность, отправляется на поиски выгодных позиций и приобретает для этих отправлений сноровку, с каждым днем все более совершенную. Посмотрите, чем стали ныне крыло летучей мыши, ухо кошки, нос собаки, глаз кондора. Постоянный орган именно потому, что он постоянен, совершенствуется; привходящий орган неизбежно остается на месте. Что такое, в сущности, совершенствоваться, как не извлекать пользу из опыта? Для этого нужно быть наделенным памятью и уметь связывать с настоящим не одно лишь непосредственное прошлое, а все прошлое. Это и делает постоянный орган. Он — *местопребывание* сохранения впечатлений, он — ось, вокруг которой вращается психическое существование существа, он — основание его единства во времени.

Этим не ограничиваются следствия создания постоянного органа. Его рождение — первый шаг организма на пути разделения труда. Орган в самом деле стремится привлечь к себе наибольшую долю чувствительности, прежде рассеянной по всему телесному веществу, — глаз, ухо стали причиной того, что остальная периферия сделалась почти совершенно нечувствительной к свету, к звуку. Так он приобретает большое преобладание и в конце концов подчиняет своей дисциплине все тело.

Уже, конечно, и привходящий орган, вызванный к жизни изменением, наступившим в среде, и притягиваемый или отталкиваемый в известном направлении, увлекает за собой соседние молекулы, которые, смею сказать, еще не знают, в чем дело; и от ближней к ближней он подчиняет своей власти все чувствующее вещество. Но эту роль начальника, которую он на миг присваивает себе, он вскоре оставляет и передает другому. Он — избранник обстоятельств; стоит им прекратиться, и он возвращается в безвестность и незначительность, из которых они его извлекли. Постоянный орган занимает прочное положение. В силу его большой раздражимости натяжения, которые он производит вокруг себя, гораздо обширнее и действеннее; молекулы непрерывно и живо побуждаются повиноваться его повторным приказаниям и в конце концов завязывают с ним постоянные отношения. Со временем его влияние становится таким, что ему достаточно знака, чтобы его поняли во всех рядах. Молекулы даже начинают предчувствовать его волю и исполнять его приказы прежде, чем он их отдаст. Так веки сами собой закрываются, чтобы помешать попаданию пылинки, которую не успели увидеть.

Итак, благодаря ему между всеми чувствующими элементами устанавливаются мощные связи. Эти связи, итог повторенных действий, составляют *привычки*, и каждому возбуждению извне соответствует особое и подходящее к нему *положение* существа. Оркестр подает свои приглашения к вальсу — и в тот же миг ноги тысячи танцоров движутся в такт. Ряд черных пятен рисуется в глазу пианиста — и его пальцы совершают на клавиатуре самые сложные переходы. Звуки поражают слух стенографа — и его рука чертит определенные знаки.

Из предыдущих рассуждений можно вывести законы воспроизводящей памяти. Однако, прежде чем перейти к этому предмету, прошу позволения прибавить несколько слов об органах чувств.

Животных, у которых лишь одно чувство, надо поместить у низа психологической лестницы. Они поднимаются по этой лестнице по мере того, как растут число и природное или искусственное совершенство их чувств. Тот, у кого лишь одно чувство, получает ощущения без *качества*, то есть различающиеся между собой лишь *интенсивностью*. Он испытывает удовольствие или страдание, не больше. Он не чувствует, что ему жарко или холодно, а лишь что ему хорошо или плохо. Получив два чувства, он обретает понятие о качестве ощущения. Он будет, например, отличать ощущение температуры от ощущения вкуса. Цвет существует лишь при условии, что есть по крайней мере два цвета.

Последовательное образование различных органов чувств есть итог постепенного и медленного развития, так что если мы мысленно восстановим всю историю млекопитающего от предполагаемой зари жизни до нашей эпохи — историю, сокращением которой служит его зародышевая жизнь, — и если,

как мы уже делали, представим ряд его успехов рядом концентрических слоев, то мы могли бы изобразить органы чувств в виде лучей, которые, выходя из более или менее глубоких слоев, смотря по тому, восходят ли они к более или менее отдаленной древности, пересекали бы и соединяли между собой все последующие слои вплоть до самого недавнего. Центральная часть, куда лучи не проникали бы, была бы образом тех первобытных времен, когда чувствительности служили лишь привходящие органы. В этой части слои сообщались бы между собой лишь беспорядочно расположенными точками соприкосновения.

Глава II. Простое воспроизведение, или реминисценция

Различие между простым воспроизведением, или реминисценцией, и воспроизведением, сопровождаемым узнаванием, или воспоминанием. — Ассоциации путем одновременности и последовательности. — Идея — внутренний образ внешних причин, которые произвели периферические связи. — Положение тела внушает соответствующую идею. — Внушения — главное содержание сновидений. — Роль общих идей и языка в реминисценциях сновидений.

Когда копируют предмет, о нем говорят, что он воспроизведен, а о копии — что она его воспроизведение. В психологии — и это замечание чрезвычайно важно — слово «воспроизведение» относится к образцу. Если бы при каком-нибудь чтении мой взгляд упал на название *asplenium*, а я не вспомнил бы, что видел его прежде, было бы второе издание одного и того же образа, но не было бы воспроизведения в психологическом смысле слова. Чтобы заслужить это имя, воспроизведение должно возникнуть из самой глубины чувствительности; это старый образ должен

ожить и вернуть себе хотя бы часть своего первоначального блеска.

Как возможно воспроизведение? — вот первый пункт, который надо решить. Но этого недостаточно. Нужно еще определить, по какому признаку мы судим, что ожившие впечатления принадлежат нашему прошлому. Порой на ткани снова проступают старые пятна; что позволяет нам сказать, что они старые? Отсюда двойная задача: задача о чистом и простом появлении вновь, или реминисценции, и задача об узнавании, или воспоминании, — причем узнавание есть то суждение, которым образование воспроизведенного образа относят к прошлому. В моем сне слово *asplenium* было предметом акта реминисценции. При пробуждении, поскольку я помещал его обратно в свой сон, оно стало предметом первого акта воспоминания; шестнадцать лет спустя, когда я снова увидел его в гербарии, оно дало повод ко второму акту того же рода.

С давних пор мыслители занимались механизмом воспроизведения. Они заметили, что идеи склонны сочетаться по известным законам. Они открыли и закон одновременности, в силу которого связываются впечатления, полученные в одно и то же время и, таким образом, принадлежащие к одной картине, — кто слышит свисток паровоза, думает о машине, — и закон последовательности, который связывает одно с другим впечатления, образующие ряд и входящие в одно и то же событие, — так запоминают все случаи долгой болезни. К этим двум законам прибавляют еще закон сходства, по которому подобное напоминает подобное, — портрет вызывает в уме оригинал, — и закон контраста, который сочетает крайности, такие как день и ночь, холод и жар, удовольствие и боль.

Займемся сперва ассоциациями путем одновременности и последовательности.

Мы видели, как, едва органы чувств получают впечатление, чувствующие и мышечные молекулы, приведенные в сотрясение наведением, располагаются в определенном порядке. Связи так сильны, что чаще всего осмотр одной-единственной молекулы позволил бы угадать положение всех остальных и восстановить таким образом общее состояние чувства.

Отсюда такое следствие: если какое-нибудь обстоятельство, которое может и не затрагивать прямо данные органы, придаст одной молекуле положение, которое она уже принимала прежде, остальные молекулы будут побуждаемы расположиться в соответствующем определенном порядке и, смотря по большей или меньшей силе привычки, дойдут до того, что уступят этому побуждению. Тогда снова образуется субъективное состояние, у которого не будет причины в соответствующем ему объективном состоянии. Когда свисток паровоза ставит его, так сказать, у вас перед глазами, это на самом деле слух действует на ваш зрительный аппарат в силу ранее установившейся периферической связи. Подобная же связь приведет к тому, что один вид букв слова «паровоз» пробудит у читателя множество ощущений: он не только услышит пыхтение машины, но увидит поезд, почувствует, как его трясет, засуетится, будет очень близок к тому, чтобы испытать все волнения путешествия. Мнемоника есть лишь применение свойств закона одновременности.

Если этот закон имеет основание в состоянии периферии, то закон последовательности объясняется постоянством органов, которые в качестве средоточий упорядочения для вещества слоев связывают их один с другим. Возбуждение органа, даже непрямое, тотчас воскрешает все его прошлое и потрясает животное сразу и

на поверхности, и в глубине. То, что видишь, возобновляет то, что видел; обрывок напева возвращает целую мелодию; фраза, слово приводит на ум целый роман. Реминисценция, таким образом, есть способность, свойственная животным, снабженным постоянными органами. В этом смысле, поскольку эти органы обязаны своим происхождением физическим причинам, она коренится в этих же причинах.

Наша душа — сложная ткань связей, образованных во всех направлениях. В ней нет больше ничего простого. Малейшее сотрясение приводит в волнение целый мир. Всякое нынешнее ощущение, всякое впечатление, даже нового рода, неизбежно сопровождается появлением прежних впечатлений, которые порой выдвигаются на первый план и отодвигают на задний план причину, пробудившую их. Тогда часто случается, что вы думаете, будто они проявляются впервые, а между тем это лишь реминисценции. Г-н Мори потерял рукопись и отказался от издания своего труда. Однажды, однако, его просят снова за него взяться. Он придумывает — по крайней мере так ему кажется — новое начало. Случай помогает ему найти первую редакцию. Каково же его удивление, когда он узнает почти слово в слово и в тех же фразах то, что, как он думал, недавно придумал[8]! Каждый день со мной случается подобное. Я забыл, что уже развил мысль, которая снова представляется моему уму, и, сам того не подозревая, пишу во второй раз ту же страницу. Сколько реминисценций скрывается под идеями, по видимости самыми оригинальными!

[8] Указ. соч., примечание D, с. 431.

Чувство, которое отвечает данному молекулярному расположению, — это *идея*, то есть внутренний образ

совокупности внешних причин, которые произвели периферические связи. Какого бы мнения ни держались об отношениях физического и психического, соглашаются ли видеть в них одну и ту же совокупность явлений, рассматриваемую с двух разных сторон — внешней и внутренней, — или отказываются от этого, во всяком случае эти отношения чрезвычайно тесны.

Прежде всего, что касается чувственных идей, таких как идеи холода или тепла, звука, формы, цвета, немного внимания позволяет вам заметить, что они отвечают некоторому состоянию тела. Мысль о падении посреди зимы в ледяную реку заставляет дрожь пробежать у вас по спине. Мысль о сочном кушанье вызывает у вас слюнки; ваши челюсти перестают бездействовать; и, если вы усилите эти как бы инстинктивные движения, вы придадите идее больше выпуклости и живости. Вспомните грудное *до* — и гортань делает усилие, словно для того, чтобы поднять голос. Представьте себе рисунок — и глаз мысленно следует по его очертаниям. Подумайте о ярком свете — и зрачок сужается. Опыт установил, что непрерывное представление яркого цвета утомляет зрительный нерв.

Возразят, указав на отвлеченные идеи. То же определение применимо и к ним. Со временем человек заменил идею знаком, и слова стали носителями его мыслей. А слова выражаются звуками или буквами; так что идея, например, *долга* связана с некоторыми движениями гортани, а эти движения сами связаны со всеми расположениями, в которых я находился всякий раз, когда мне говорили о долге. Идея, следовательно, зависит от периферических отношений. Во всяком случае это живое ощущение, если предмет налицо, и более или менее ослабленное, если его нет.

Обратно, положение тела вызывает в душе определенное чувство. Придайте своим чертам выражение гнева — и вы смутно почувствуете гнев; придайте им печальный вид — и вы почувствуете склонность к печали. Над загипнотизированными и сомнамбулами были проведены опыты, которые ставят это соотношение вне сомнения. «Так, например, — говорит г-н Рише[9], — если у загипнотизированного сжать правый кулак и вытянуть руку, тотчас лицо примет выражение гнева, угрозы, и все тело придет в соответствие с этим общим положением гнева или угрозы. Если заставить его сложить руки, черты примут умоляющее выражение; он встанет на колени и, кажется, всем своим видом будет смиренно молить о пощаде». — «Если поднести ей (больной истерией, находящейся в отделении профессора Шарко) правую руку ко рту, как если бы ее заставляли послать воздушный поцелуй, она тотчас начинает улыбаться, и ее лицо принимает влюбленное выражение». Весьма замечательная подробность: такого рода *внушения* могут ограничиваться одной стороной тела, «так что, если сделать левым кулаком жест угрозы, а правой рукой — жест воздушного поцелуя, черты принимают слева вид гнева, а справа — вид влюбленной нежности». Из этих и других фактов г-н Рише выводит такое общее заключение: «Каждое движение, будь оно произвольное, рефлекторное или *сообщенное*, отзывается на нервных центрах и изменяет течение наших идей и наших чувств».

[9] «Философское обозрение», декабрь 1879 г., с. 611 и след. Доктор Рише подробнее разобрал тот же предмет в «Обозрении Двух Миров» (январь и февраль 1880 г.).

Итак, реминисценции суть внушения, и именно внушения доставляют сновидению его главное содержание. Ощущения тепла, холода, шума, света и т. д. — один из источников образов,

которые возникают в уме спящего человека. Положения, которые мы принимаем, и физиологическое состояние наших внутренностей со своей стороны придают нашим идеям неотвратимое течение. С другой стороны, общие идеи и слова играют значительную роль в запутанных сплетениях наших сновидений. Остановимся на минуту на этих двух деятелях.

По поводу общих идей поднялся спор. Суть ли они отвлечения или нет? Мне незачем здесь становиться на сторону Локка или Беркли; мне достаточно заметить, что общая идея по своей природе — идея живая и сильная.

Живость идеи может зависеть от двух причин: от силы впечатления и от повторения одного и того же впечатления. Идея, которую я имею о своей собаке, отчетливее, живее идеи о собаке моего соседа, и это, среди прочих причин, потому, что я вижу ее каждый день. Идея о собаке, которую я видел бы лишь однажды, могла бы, однако, иметь такую же выпуклость, если бы, например, эта собака меня укусила. В этом случае это происходит от внимания, которое я уделил бы ей в ту минуту, когда это случилось. В сущности, эта причина действует так же, как и предыдущая. Быть внимательным — значит накапливать за короткий промежуток времени многочисленные повторения определенного впечатления. Кто внимательно рассматривает картину в течение нескольких минут, запечатлевает ее в уме так же отчетливо, как тот, кто приходил бы несколько дней подряд бросить на нее беглый взгляд.

А общая идея образуется, так сказать, механически, повторением одинаковых впечатлений. Признаки, которыми все собаки сходны между собой, запечатлевались в памяти всякий раз, как видели собаку, и вот почему общая идея *собака* имеет особенную выпуклость, хотя невозможно представить себе собаку

вообще. Через посредство общей идеи частный образ может пробудить неисчислимое множество других частных идей. Вид Страсбургского собора поставит перед вашими глазами все города, замечательные своими соборами, и все случаи ваших путешествий, если вы в них бывали. Общая идея играет роль, подобную роли органа[10]. У всех животных есть общие идеи. Такова цена сохранения их жизни.

---

[10] Я читаю во «Всеобщей библиотеке» (ноябрь 1879 г., с. 354) следующее изложение очень любопытных опытов, произведенных г-ном Фрэнсисом Гальтоном в Королевском институте:

«Когда последовательно рассмотришь некоторое число предметов одного рода или некоторое число лиц, имеющих общими несколько характерных черт, — ряд древесных листьев или нескольких людей, принадлежащих к чужому народу, например итальянцев, — образ, который остается у нас в уме, есть образ не того или иного листа и не того или иного итальянца, а листа или итальянца вообще; это то, что г-н Фрэнсис Гальтон называет *родовым образом*. Частные, или индивидуальные, признаки стерлись. Общие признаки благодаря своему повторению произвели более прочное впечатление и одни остаются запечатленными в уме. Это та умственная операция, которую обозначают именем *отвлечения* и благодаря которой мы можем подняться до понятия о типе.

Г-н Гальтон постарался прийти к подобному результату чисто механическими приемами, соединяя несколько портретов так, чтобы получить то, что он называет родовым, или типическим, портретом. Он отбрасывает несколько отдельных портретов на один и тот же экран посредством волшебных фонарей, расположенных так, чтобы изображения в точности накладывались друг на друга. Можно было бы подумать, что так получится лишь смутная мазня. Ничуть: общие черты так усиливаются, что остальные исчезают, и полученное изображение очень отчетливо. Он поступает и иначе. Он фотографирует на одну и ту же пластинку ряд портретов, позаботившись о том, чтобы свет действовал на каждый из них лишь очень короткое время, и получает фотографию, которая есть среднее, или равнодействующая, различных портретов. Любопытная вещь: эти фотографии имеют очень резко выраженный индивидуальный характер и в то же время чистоту форм, которая делает их более приятными на вид, чем исходные портреты. Так он соединил черты шести римлянок, которые дали ему тип особенной красоты и прелестный идеальный профиль. Он получил Александра Великого по шести медалям Британского музея, изображавшим его в

разном возрасте, и Клеопатру — по пяти источникам. Эта Клеопатра была гораздо привлекательнее каждого из отдельных изображений. Не любопытно ли видеть, как прием отвлечения переходит из области субъективной в область объективную и дает таким образом своего рода чувственный перевод таинственных законов сохранения или постепенного стирания лиц в памяти?»

Язык, по-видимому, свойствен человеку, или, вернее, мы склонны назвать человеком всякое животное, которое умело бы говорить. Слова, как я только что сказал, суть не что иное, как сочетания мышечных движений, главным образом движений гортани, которые мы научились связывать с некоторыми впечатлениями. Впечатления и слова, таким образом, взаимно вызывают друг друга. Это свойство простирается и на слоги, и на звуки. Кто не знает любопытных наблюдений, собранных г-ном Мори[11], о влиянии одинаковых слогов, которые заставляли его переходить от идеи лопаты (*pelle*) к идеям паломничества (*pèlerinage*) и Пеллетье (*Pelletier*), от идеи сада (*jardin*) к идеям Шардена (*Chardin*) и Ж. Жанена (*J. Janin*)? На днях, засыпая, я внезапно перешел от образа *фасада* одного нюрнбергского дома к *каскаду* Ниагары. Мне посчастливилось уловить переход. Обращаясь к вымышленному собеседнику, я хотел мысленно произнести обрывок фразы: «Какой изящный фасад!» Мои оцепеневшие и плохо управляемые органы выговорили слово «каскад». Больше ничего и не понадобилось, чтобы одним махом перенести меня из Баварии в Америку[12].

[11] «Сон и сновидения», гл. VI, с. 115 и след.

[12] Г-н Г. Тард, чье имя хорошо знакомо читателям «Философского обозрения», некогда задумал — и напрасно от этого отказался — заняться сновидениями. Этот замысел получил, однако, начало исполнения: собрание наблюдений автора над собственными снами, сопровождаемых пояснениями. Г-н Тард любезно передал мне это собрание. К несчастью, оно дошло до меня, когда печатание моей книги было уже на этом месте, иначе я сделал бы из него довольно частые заимствования. Вот одно из них: «21 марта 187… Снилось, что я вижу на дороге

экипаж (*voiture*) г-на де С., разделенный надвое сверху донизу. — Вчера я видел на другой дороге экипаж г-на де С. в ту минуту, когда только что осматривал крышу (*toiture*), расколотую посредине упавшей скалой. Итак, я приписал экипажу происшествие с крышей, и *сходство звучания этих двух слов вполне могло способствовать такому слиянию двух идей*».

Выше я сравнил душу с атласом. Теперь я могу развить свое сравнение. Каждый лист атласа изображает одну и ту же местность, но с разными подробностями. На первых листах лишь немного обозначений, которые по большей части встречаются во всем ряду. Это большие реки, высокие горы, столицы. Из подробностей, напечатанных на следующих листах, некоторые появляются часто, другие читаются лишь однажды. Если теперь предположить, что все эти карты выгравированы на прозрачной бумаге и что они в точности наложены одна на другую, то, глядя сверху на последний лист, можно составить себе верное понятие о последовательной работе художника, которому мы обязаны этим томом. Гравюра этого листа видна, само собой, отчетливее всего; некоторые подробности, нарисованные на нижних картах, будут едва видны, если они встречаются лишь на одной или двух картах или если они отмечены лишь на первых листах. Столицы, реки, высокие вершины будут необыкновенно выпуклы, так как окажутся на каждой странице, а после них по яркости в первую очередь пойдут те подробности, которые художник воспроизводил чаще всего или позже всего.

Подведем теперь итог всему сказанному на одном примере. Да простят мне, что я беру его из своего личного опыта. Когда я был маленьким, мать, укладывая меня в постель, чтобы я не пачкал подушку, надевала мне на голову чепчик, который крепко завязывала под подбородком. Она уверяла, что без этой предосторожности, так как я много ворочался, он не держался бы. Я терпеть не мог этот ужасный чепчик и его завязки и годам к

двенадцати, кажется, сумел от него избавиться и ложиться спать с непокрытой головой. И вот сегодня, спустя более сорока лет, когда моя голова лежит на подушке и мне случается почувствовать на щеках давление известного рода, воспоминание о моей былой муке внезапно возникает: двойная завязка затягивается у меня под подбородком, и шапочка прилегает и давит мне на темя. Воспроизведение обрывка периферического состояния восстанавливает целое. Несколько лет назад я был в Брюгге. Так как это впечатление повторилось раз или два, я задумал использовать этот факт для настоящей работы. Тем не менее он совершенно вылетел у меня из головы. Однажды, перечитывая в «Научном обозрении» статью г-на Роменса об *уме животных*, я дохожу до такой фразы: «Сам человек за краткий срок своей индивидуальной жизни приобретает инстинкт, например, поправлять свой ночной чепец[13]». Тотчас эти слова напоминают мне мой детский чепчик — вот влияние слова; — но в то же время я подумал о Брюгге и о своей работе; а потом отдался течению воспоминаний.

[13] Вот конец фразы: «инстинкт, который может стать настолько выраженным, что проявляется даже в глубоко бессознательном состоянии апоплексической комы». Номер от 4 января 1879 г.

Сколько предметов для размышления в этом столь обыкновенном происшествии! Посмотрите, что сделало одно слово. Шесть букв слова *bonnet*, напечатанные черным по белому, были как искра, упавшая на пороховую дорожку. Эта пороховая дорожка — связи, как в глубину, так и по поверхности. Слово, связанное с образом, образ, связанный с деятельностью органов осязания, рассеянных в коже моих щек и шеи, эта же деятельность, связанная с более недавними впечатлениями, — вид слова пробуждает все это сразу. Искра, подобно электрической жидкости, пошла по линиям

наименьшего сопротивления, руководимая, без сомнения, также некоторыми влияниями, которые невозможно не только вычислить, но и уловить. Все места, оказавшиеся на ее пути сквозь листы атласа, осветились, и наконец целая карта в известный миг была залита светом.

Глава III. Воспроизведение, сопровождаемое узнаванием, или воспоминание

Узнавание — существенное условие воспоминания. — Настоящее напоминает прошлое лишь постольку, поскольку это прошлое отличается от настоящего; значение законов сходства и контраста, ошибочно выдаваемых за законы ассоциации. — Предмет воспоминания — место и дата. — Приложение к случаю с asplenium.

Рассмотрим теперь, как прошлое состояние может воспроизводиться как прошлое. Этот пункт — главный. Название *asplenium* ожило в моем уме. В первый миг я думал увидеть в нем произведение моей творческой способности. Я мог бы держаться этого мнения, даже когда узнал, что название настоящее. Совпадение было бы из самых странных, но вещь не была безусловно невозможной. Я уверился в противном, когда открыл источник, из которого оно ко мне пришло. Итак, всякое воспоминание предполагает узнавание прошлого как такового; этим оно и отличается от реминисценции. «Чтобы мы *вспомнили* что-нибудь, — говорит Декарт, — недостаточно, чтобы эта вещь некогда предстала нашему уму и оставила в мозгу какие-нибудь следы, по поводу которых та же вещь снова *представляется* нашей мысли; но, кроме того, требуется, чтобы мы ее *узнали*, когда она представляется во второй раз. Так, поэтам часто

приходят на ум некоторые стихи, которых, как им помнится, они никогда не читали у других авторов и которые, однако, не пришли бы им на ум, если бы они их где-нибудь не читали[14]».

[14] «Философские сочинения», изд. Ад. Г., т. IV, с. 204.

На этот счет нет сомнения. Но не так легко показать, в чем состоит узнавание и как оно возможно. Надо прочесть у Гарнье главу[15], которую он посвящает этому предмету: «„Чтобы узнать предмет, — говорит Декарт, — нужно, чтобы при первоначальном познании этого предмета я рассудил, что он новый“. Но чтобы рассудить, что предмет новый, — продолжает Гарнье, — нужно сравнить его с другими, о которых рассудили, что они уже были известны. А вопрос как раз в том, чтобы узнать, как мы судим, что предмет был нам уже известен». Затем он направляет свою победоносную критику против Кондильяка и Юма, которые «хотели объяснить различие первоначального познания и памяти различием в живости между двумя этими явлениями… Но Кондильяк сам себя опровергает, когда говорит: „Чувство нынешнего ощущения может быть менее живо, чем воспоминание об ощущении, которого больше нет“. Да и почему слабое чувство помещалось бы в прошлое скорее, чем живое? Наши нынешние восприятия бывают более или менее живы, и мы не располагаем их во временном порядке по степени их живости». Гарнье опровергает еще несколько попыток объяснить узнавание и в конце концов присоединяется к мнению Томаса Рида, который видит в нем факт простой, факт неразложимый. Этот вывод не обоснован: Гарнье следовало бы довольствоваться тем, чтобы сказать, что это факт неразложенный. Его критика давала право на это отрицание; но в слове «неразложимый» есть, кроме того, утверждение, которое ничуть не доказано.

[15] «Трактат о способностях души», 2-е изд., Ашетт, 1865. Кн. VI, гл. VI, т. 2, с. 152 и след.

Дело в том, что Гарнье, как и многие другие психологи, впал в ошибку довольно естественную, но очень серьезную. Он думает, что прошлый образ может вернуться по поводу восприятия того же образа. «Это узнавание, — говорит он[16], — может сопровождать представление, если это представление есть образ предмета, который мы некогда восприняли; но оно может и отделяться от него: может быть представление без узнавания, как в примере музыканта (который иногда представляет себе мелодию, которую считает новой, не узнавая, что уже слышал ее), и узнавание без представления, *как когда при втором восприятии того же предмета мне случается его узнать*». В нескольких трактатах по психологии простым воспоминанием (которое отличают от воспоминания по ассоциации) называют тот акт, которым узнают, что нынешнее восприятие уже было у нас прежде.

[16] С. 155.

Та же ошибка лежит в основе так называемого закона сходства, в силу которого подобное будто бы вызывает воспоминание о подобном. Портрет, говорят, заставляет думать об оригинале; не тем ли более сделает это сам оригинал? Если бы это было так, то, поскольку всякое воспоминание есть представление, отсюда следовало бы, что надо иметь одновременно восприятие и представление одного и того же предмета. А мы доказали, что это невозможно[17]. Восприятие поглощает и совершенно стирает представление.

[17] См. выше, главу I части о достоверности.

Однако нельзя отрицать, что портрет напоминает оригинал. Но стоит немного подумать, и видно, что из оригинала он напоминает не те черты, которые воспроизводит, а как раз те, которых не воспроизводит. Например, так как портрет неподвижен и нем, скажут, что ждешь, будто он начнет жестикулировать, заговорит. Каждый день бывает, что, встретившись с какой-нибудь особой во второй раз, вы вспоминаете, что видели ее в первый раз. Точнее говоря, вы вспоминаете тот первый раз, когда ее видели. В самом деле, собственный предмет воспоминания — это обстоятельства, при которых вы некогда ее встретили, поскольку они отличаются от тех, при которых вы встречаете ее сегодня. Вы вспомните гостиную, где она была, людей, с которыми она беседовала, наряд, который был на ней; вы заметите, что она была моложе, или худее, или здоровее. Словом, вы никоим образом не станете припоминать черты или обстоятельства тождественно сходные. Да и как вы могли бы, раз они у вас перед глазами?

Вы ходили в Лувр полюбоваться Джокондой. Вы идете туда снова с намерением еще раз ее увидеть. Всю дорогу ее образ сопровождает вас. Но этот образ, как бы верен он, по-вашему, ни был, дает вам самое большее то, что вы заметили в картине, тогда как само произведение содержит это и еще нечто иное, и это иное способно снова погрузить вас в восхищение. А когда вы окажетесь перед картиной, вы сможете оживить образ, который только что занимал ваше воображение, лишь закрыв глаза; зато ничего не будет вам легче, чем представить себе некоторые подробности вашего первого посещения: время года, час, солнце или дождь, толпу или безлюдье. Одним словом, вы поместите Джоконду в ее прежнее окружение, и именно об этом окружении, поскольку оно

отличается от нынешнего, вы, собственно говоря, и можете сказать, что его вспоминаете.

Подведу итог и сделаю первый вывод. Восприятие вещи, которую вы уже воспринимали прежде, приводит в движение одно или несколько прежних периферических состояний, которые в тех точках, где они отличаются от нынешнего периферического состояния, дают начало представлениям. Ум судит, что предметов этих представлений нет налицо, потому что их образы тусклы по сравнению с образами предметов, которые находятся перед нами и которыми окружена вещь, вызывающая воспоминание. Таково точное значение законов сходства и контраста, которые иные психологи ошибочно помещают среди законов ассоциации. Сходство вызывает воспоминание о различиях. Нынешний образ, поскольку он тождествен образу прошлому, заставляет снова появиться прежнюю рамку, поскольку она отличается от новой[1].

[1] Мне не раз казалось, что я нахожу эту мысль у г-на А. Бэна («Ум и тело», с. 90, 235 и др.), который часто говорит о «сознании сходства посреди различия», но развития ее у него нет. См. также в «Философском обозрении», т. IX, статью г-на Брошара, особенно с. 264.

Но вот второй вывод: эта прежняя рамка — попросту место и дата. Вспоминать — значит помещать нынешний образ в другое время и в другую среду; ни больше ни меньше. Это значит отыскать в атласе лист и то самое место, где он выгравирован.

Порой из глубин прошлого в уме всплывает отдельный образ. Это лицо, местность, сцена. Так, сейчас у меня уже несколько дней стоит перед глазами большая телега, доверху нагруженная сушеной рыбой, связанной в пучки. Должно быть, я где-то ее видел. Мне кажется, что это было в Генте. Я вижу высокие и убогие дома, выкрашенные в желтый цвет, которые тянутся вдоль улицы, где она стояла, — потому что она стояла. Однако я

испытываю некоторое замешательство: не снилась ли мне эта телега? не видел ли я ее на гравюре? не читал ли я страницу, где о ней говорилось? Все эти вопросы держат мой ум в неизвестности, и я чувствую, что не в силах на них ответить. Чего же мне недостает? Я вижу свою телегу словно на просвет, но не знаю, на какой карте она нарисована. Она висит, будто в пустоте, без всякой связи с прошлым, без всякой связи с настоящим. Чтобы ее отыскать, у меня нет ни проводника, ни компаса. Но предположите, что я вспомню, что был с другом, когда ее видел, — и все мои сомнения рассеются. Тогда я смогу восполнить цепь своих воспоминаний. Я узнаю, где и почему этот друг меня сопровождал, и таким образом вернусь к настоящей минуте известными и определенными путями. Я совершу акт узнавания. Чего мне недостает — так это места и даты[2].

[2] Выше я привел неполное воспоминание г-на Таннери. То, что ищет г-н Таннери, — это место и дата.

«Достаточно увидеть человека, чтобы так или иначе его познать, — говорит г-н Тибергьен[3], — узнать его — значит вспомнить, что его уже видели: воспоминание отчетливо или смутно, смотря по тому, знают или не знают, в какое время, в каком месте и при каких обстоятельствах произошла первая встреча; но воспоминание есть, лишь бы было сознание встречи». Мы только что видели, как верно это замечание при всей своей краткости. Приложим его к случаю с *asplenium*.

[3] «Наука о душе в пределах наблюдения», г-на Тибергьена, профессора Брюссельского университета, 1862, с. 394.

Asplenium дал у меня повод к одной реминисценции и к двойному воспоминанию. К реминисценции: под действием возбуждения, которое так и осталось неизвестным, образ этого названия,

прочитанного мной когда-то в гербарии, в одну прекрасную ночь вновь обретает яркость и силу и властно привлекает мое внимание. К первому воспоминанию: на другой день, проснувшись, я знал, что это название доставил мне мой сон.

Здесь нет никакого затруднения. Но второй акт воспоминания требует несколько более подробного разбора. Откуда пришло ко мне это слово во сне? Так как оно настоящее, я *подозреваю*, что должен был где-то с ним встретиться; но, по выражению г-на Тибергьена, у меня нет *сознания* этой встречи. Если бы у меня была привычка перелистывать гербарии или книги по ботанике, я мог бы удовольствоваться этим *подозрением*; но для меня загадка заключалась столько же в странности реминисценции, сколько в том, что я не помнил ни книги по ботанике, ни какого-либо гербария. *Asplenium* был не просто в тумане — он был в совершенной пустоте. Однако — и это хорошо показывает верность изложенной мной теории о собственном предмете воспоминания — само слово не напоминало мне прежнего слова, слова, прочитанного когда-то, и тем не менее я был *a priori* уверен, что то было то же самое слово, что и бывшее у меня теперь. Я хотел, чтобы это слово напомнило мне обстоятельства, при которых оно меня поразило, то есть место и дату, причем степень точности этого места и этой даты была бы не так уж важна. Мое желание, следовательно, было направлено на нечто иное, чем на припоминание слова. И вот чего не смогло сделать слово, то сделал вид альбома. Если бы по поводу своего сна я подумал об этом альбоме, я совершил бы акт узнавания. Этот акт совершился обратным путем. Это альбом напомнил мне мой сон. С этой минуты я почувствовал словно облегчение: у меня были место и дата; я мог подняться известными путями до той умственной

карты, где рядом с засушенным растением было написано название *asplenium*.

По поводу памяти можно было бы исследовать, как образуется в нас идея времени, а следовательно, и идея прошлого и будущего. Но этот предмет требует особого изучения.

Глава IV. Привычки

Ассоциации суть привычки или начала привычек. Привычные действия отличаются тем, что не пробуждают внимания. — Внимание — следствие различительного состояния. — Произвольное внимание увеличивает малые вещи. Непроизвольное внимание — соразмерный признак сопротивления организма внешнему действию. — Действие повторения на ощущения и движения. — Привычки всегда бодрствуют и сопровождают человека во всех его состояниях. — Во всяком психическом явлении есть случайное и необходимое.

Мы только что говорили об ассоциациях идей и о том, как старые впечатления переходят из скрытого состояния в состояние реминисценций и воспоминаний. Среди ассоциаций есть такие, которые отличаются особой силой и за которыми по этой причине закрепили имя *привычек*. По сути, всякая ассоциация, даже самая слабая, есть начало привычки.

Привычки бывают в покое или в действии. Когда я пишу эти строки, есть известные правила правописания, которые я применяю, и много других, которые мне не случается применить. По отношению к первым привычки в действии; по отношению ко вторым — в покое. Эти несколько слов показывают, что привычки относятся к явлениям памяти, поскольку они суть возобновления знания, приобретенного когда-то. Но они отличаются от реминисценции и воспоминания тем, что те служат предметом

внимания, тогда как привычные действия стремятся пройти незамеченными и часто так и проходят. Различие между теми и другими имеет, следовательно, свое основание не в действительности, а во внешнем обстоятельстве.

Читатель не забыл различия, которое г-н Штрикер проводит между потенциальным знанием и знанием актуальным. Потенциальное знание охватывает все, что мы знаем и что можем найти в себе при нужде или при случае. Актуальное знание — это то, о чем мы думаем в настоящую минуту, то, что служит предметом внимания. Оно составляет лишь малую часть знания потенциального. Математик, даже когда он вычисляет, в любую данную минуту может сосредоточить мысль лишь на очень немногих из известных ему формул.

Вместо слов «внимание» и «невнимание» иногда пользуются словами «сознание» и «бессознательность» и говорят, что актуальное знание сознательно, а остальная часть потенциального знания бессознательна. Это смешение терминов не лишено некоторых неудобств, так как сознание, о котором здесь идет речь, не есть явное чувство действительности внешнего мира[4]. Слова «сознательный», «бессознательный» не обозначают новых свойств этих двух видов знания; по сути, они выражают ровно то же, что и термины «актуальный» и «потенциальный»; но по форме они заявляют противоположность и подразумевают сравнительную оценку.

[4] См. выше, во Введении.

А между вниманием и невниманием нет коренной противоположности. Нельзя сказать, где кончается одно и начинается другое. Оба допускают больше и меньше. Строго говоря, невнимание должно было бы быть нулем внимания; но

существует ли этот нуль — вопрос спорный, и сам я в него не верю. Сейчас я думаю и стараюсь придать своей мысли ясную и точную форму. Этот предмет, несомненно, стоит на первом плане и особенно привлекает мое внимание. Но в то же время мое перо бежит по бумаге, я веду руку, вывожу буквы и применяю правила французской грамматики. Все эти действия стоят на втором плане, и все же они вполне присутствуют в моем уме. Мало того: я остаюсь в сообщении с внешним миром; я слышу грохот экипажей на улице, звяканье колокольчика, возвещающего о посетителе, шумы надо мной и подо мной, тиканье часов. Я ощущаю также мелкие неудобства в мышцах: то я кладу ногу на ногу, то раздвигаю или вытягиваю ноги; я воспринимаю внутренние ощущения, быть может, биение сердца, быть может, пульсацию артерий. Эти ощущения могут даже стать настолько сильными, что отвлекут меня и оторвут мое внимание от того, что я делаю. Каковы же тогда внутренние явления, о которых у меня нет никакого сознания? Движения кровообращения, отделения, переработки, обновления? Пусть так; но часто достаточно болезненного состояния, чтобы у меня явилось чувство их, если не восприятие. Неужели они внезапно изменили бы свою природу?

Как видим, у слова «внимание» нет безусловного, точного и определенного значения. Между вниманием и невниманием есть все мыслимые степени. В картине глаз чувствует, что его притягивают светлые места, но он более или менее хорошо различает и полутона, и темные тона.

Внимание, следовательно, есть следствие различительного состояния. Оно более или менее привлекается к впечатлениям сообразно их сравнительной живости. Стук экипажа вдали пройдет для вас незамеченным среди дневного шума; в ночной

тишине он заставит вас насторожить слух. Однако живость впечатления не всегда зависит, как в этом примере, от физических причин: она может зависеть от причин психических, которые все имеют свое начало в воле. Природа моего предмета не побуждает меня долго говорить о влиянии этого фактора. Все же я должен сказать о нем несколько слов.

Непроизвольно наше внимание вызывается раскатом грома, но произвольно врач направляет свое на шумы в груди больного, столь мало уловимые для непосвященных. Внимание — своего рода инструмент, который уменьшает большие вещи и увеличивает малые. Посмотрите на этого настройщика фортепиано. Комната, где стоит инструмент, полна народу; это час обеда; родители беседуют, дети смеются, служанка входит, выходит, приносит или уносит блюда; с одного конца стола до другого едва можно друг друга понять. А он между тем прикован к своей клавиатуре; он заставляет звучать струны одну за другой и слышит лишь тот звук, который они издают; он его разбирает, оценивает, повышает, понижает, пока тот не придет в лад с камертоном. Его слух, столь чуткий, столь тонкий, столь нежный, закрыт для оглушительного гама, который стоит в двух шагах от него. Говорить ли о других его чувствах? Они, так сказать, погашены: его душа сосредоточила на одной точке всю свою чувствительность[5].

[5] Я уже думал измерить силу воли по ее действию на внимание, но до сих пор мне недоставало времени и решимости. Например, на некотором расстоянии друг от друга и в совершенно одинаковых условиях звучности можно было бы поставить два метронома, тиканье которых было бы в точности одинаковой силы. Опытный, становясь на прямую, которая их соединяет, приближался бы то к одному, то к другому. Ясно, что своими перемещениями он меняет относительную силу звуков, которые достигают его ушей, и без труда понятно, что он может стать там, где его внимание само собой будет целиком привлечено одним из двух инструментов. Но *воля* может изменить это отношение; она может

обратить внимание к более слабому звуку так, чтобы воспринимать его, а более сильный не допускать до души. Можно было бы определить наибольшее действие, какого может достичь воля; затем, вычислением, основанным на законе квадрата расстояний, измерить эту наибольшую величину. Так легко нашли бы, в каких пределах внимание может усилить или ослабить звук. Очень часто случалось мне ночью слышать тиканье своих карманных часов и не слышать тиканья будильника, который, однако, гораздо громче. Потом вдруг я начинал слышать его и уже был не в силах снова уловить тиканье часов.

Итак, произвольное внимание оживляет чувствительные силы в определенном направлении. Это факт неоспоримый, хотя и таинственный. Его часто вызывает непроизвольное внимание. Среди ночи внезапный шум будит вас, и вы начинаете прислушиваться. Каков механизм этой способности? Я думаю, что сейчас было бы очень трудно высказать об этом даже простую догадку. Мне довольно указать, что в конечном счете она приводит к увеличению значения данного впечатления, как это сделало бы усиление в действии внешнего деятеля или возрастание чувствительности. Перейдем к непроизвольному вниманию.

Внешняя сила производит на нас впечатление лишь при условии, что она нарушает равновесие телесных молекул. Она понемногу разрушает в них сопротивления, которые ее задерживают, пока не установится новое равновесие. Внимание есть признак внутреннего отзвука этой борьбы внешнего мира против чувствующего вещества. Кроме того, всякое впечатление действует на нас приятно или неприятно и внушает нам влечение или отвращение к предмету, который его вызвал, после чего человек делает усилия, чтобы к нему приблизиться или от него отдалиться. Это противодействие чувствительности внешнему миру тоже сопровождается вниманием. В обоих случаях внимание сливается с чувством сопротивления или усилия; в итоге оно есть лишь психическая сторона либо закрепления внутри внешней

силы, либо приложения вовне силы внутренней; оно — непременный спутник всякого усилия или всякого сопротивления.

Когда сопротивление уменьшается, внимание ослабевает. Внешний деятель, действуя на чувствительность, следует по линии наименьшего сопротивления, и самое его прохождение еще больше ослабляет это сопротивление. Точно так же и произвольное движение делает гибче аппарат, служащий для движения, — скажу для определенности: мышечный аппарат. Достаточно вспомнить, как мы учились читать и писать. Отсюда следует, что повторение притупляет ощущение и облегчает мышечное действие; тем самым оно уменьшает живость образа или чувство усилия. Вы проходите привычную дорогу, не замечая ни ее поворотов, ни деревьев или домов по ее сторонам. Порой исполняешь свою работу так машинально, что минуту спустя забываешь, что ее сделал. С кем не бывает, что он прочитывает одними глазами несколько страниц подряд без малейшего участия ума?

Но повторение позволяет также при том же усилии получить гораздо более значительное движение, как это бывает в хорошо сделанных машинах; и этот размах движения придает идее отчетливость. Привычка видеть своих детей может быть причиной того, что я сейчас не помню, видел ли я их сегодня и какое платье на них было; но, с другой стороны, она дает мне средство точно и легко вспомнить их черты. Таким образом, она то делает меня равнодушным или даже нечувствительным к их присутствию, то дает мне более живое и более верное его воспроизведение. Уменьшение сопротивления ведет, следовательно, к двум с виду противоречивым следствиям, которые, однако, без труда объясняются.

В изменениях, которые повторение производит в ощущениях и движениях, можно различить четыре главных момента. Ощущение *действительно*, когда мы знаем и его природу, и его причину; оно — *реминисценция* или *воспоминание*, когда мы знаем его природу, но не причину; оно *смутно*, когда мы не знаем ни природы его, ни причины; наконец, оно *неуловимо*, когда оно не служит предметом никакого акта познания.

Движение в свою очередь бывает *произвольным*, *привычным*, *инстинктивным*, *рефлекторным* или *автоматическим*. Оно произвольно, когда мы знаем, как и зачем его делаем; привычно, когда мы делаем его, не зная как; инстинктивно, когда мы делаем его, не зная ни как, ни зачем; рефлекторно, когда мы делаем его, сами того не зная. Многие выводят способность познания из рефлекторных движений. Я держусь противоположного мнения: познание озаряло первые шаги животной жизни, и так лучше всего объясняется удивительная целесообразность рефлекторных движений. При этом предположении инстинкт и автоматизм суть привычки, переданные путем рождения.

И вот к чему я хотел прийти. Если объединить под родовым именем привычек все приобретенные склонности, которые уменьшают усилие, а значит, и внимание, то можно сказать, что привычки, *поскольку они привычки*, всегда входят в актуальное знание; в покое, как и в действии, они всегда к услугам человека; словом, они не засыпают[6]. Я прибавил «поскольку они привычки», потому что, вообще говоря, — и этого нельзя упускать из виду, — упражнение привычек, даже очень застарелых, все же требует известной траты силы, и этим объясняется, почему внимание его замечает.

[6] См. выше, главу II части о достоверности.

Наши привычки, следовательно, составляют часть нас самих, самые новые так же, как самые старые. Они сопровождают нас во всех наших обычных состояниях. Бодрствуем ли мы, погружены ли в грезы или находимся во власти сна, они вплетаются во все наши мысли и во все наши движения.

Поэтому во всех наших чувствах, как и во всех наших действиях, всегда есть нечто случайное и нечто необходимое. Случайное — это то или иное впечатление, пришедшее извне, которое приводит в действие нашу чувствительность и нашу деятельность; необходимое — это путь, по которому это впечатление идет в организме, и возбуждение привычек, которые оно встречает на своем пути. В музыкальных шкатулках мастер расположил в известном порядке штифты на валике. Нажимают одну кнопку — шкатулка играет одну мелодию; другую кнопку — она играет другую. Душа и есть такая музыкальная шкатулка; как мы уже говорили, это тетрадь фонографических листов. Внешние деятели неустанно извлекают из нее то целые напевы, то обрывки напевов. Эти напевы, которые она поет, — привычки, которые она приобрела. Наконец, и сами иллюзии, жертвой которых она так часто бывает, — что они такое, как не неизбежные следствия ее привычек?

Начала, которые мы только что изложили, послужат нам для того, чтобы охарактеризовать и объяснить сновидение.

СНОВИДЕНИЕ

✦

Глава I. Воспроизведения в сновидении

Сновидение есть лишь воспроизведение прошлого, данные которого сцепляются и развертываются сообразно нынешним привычкам. — Примеры: объективация наших впечатлений; язык, его причуды, его правильность. — Подробное восстановление сна о ящерицах. — Об удивлении, нравственности и стыдливости во сне. — Бессвязность сновидений; почему она нас поражает. — Воспоминание во сне: может сниться, что видишь сон.

Что такое сновидение? Теперь этот вопрос решен. Причина противоположности между бодрствованием и сном целиком заключается в состоянии периферического слоя, смотря по тому, способен он или нет приводить нас в сознательное сообщение с внешним миром. Таким образом, сновидение имеет свое местопребывание как раз в промежуточных слоях, где отложены инстинкты, привычки и воспоминания. Нам незачем говорить о более глубоких слоях, вместилищах автоматических связей, где происходят явления, обычно скрытые от взора сознания.

В картинах сновидения нет ничего нового, ничего нынешнего. Они предлагают нашему вниманию лишь старье, подновленное неожиданными сочетаниями и контрастами. Все издержки представления несет прошлое. Что же до настоящего, оно скрывается за сценой, и все же именно оно, без ведома души, составляет программу и по своему усмотрению выбирает и меняет декорации, выводит на сцену или отзывает действующих лиц.

Во сне, следовательно, за исключением восприятия, все способности ума — разум, воображение, память, воля, нравственность — остаются нетронутыми в своей сущности; только они прилагаются к воображаемым и изменчивым предметам. Видящий сон — это актер, который по желанию играет безумцев и мудрецов, палачей и жертв, карликов и великанов, демонов и ангелов.

В сновидении — а в этом отношении можно провести постоянную параллель между сновидением и грезой наяву — есть, как и в восприятиях и представлениях бодрствующего состояния, нечто случайное и нечто необходимое. Случайное — это игра физических или физиологических причин, которые подсказывают данные сновидения; необходимое — это то, как под властью привычек эти данные развертываются и сцепляются.

Было бы утомительно перебирать все наши привычки, чтобы показать их в действии в наших сновидениях. Назовем лишь две.

Самая древняя из всех — та, которая заставляет нас относить причину наших впечатлений к предмету вне нас. Отсюда и происходит, что мы неизбежно смотрим на себя как на средоточие вселенной, которую проецируем вокруг себя. Во сне — и в известной мере в грезе — мир, в котором мы действуем, вымышлен и составлен из обломков прошлого. Но, если не считать одного этого обстоятельства, явление проекции здесь тождественно тому, чем оно бывает в бодрствующем состоянии. Так как эта привычка по существу принадлежит всякому чувствующему существу, можно утверждать, что она служит основой всех сновидений, у какого бы животного они ни возникали.

Есть и другая привычка, свойственная человеку, — привычка речи. Каждый из нас в своих снах говорит, беседует, спорит,

излагает и развивает свои мысли, опровергает возражения, критикует мнения, высказанные вымышленными собеседниками, и весьма часто во сне оказывается так же рассудителен, как в бодрствующем состоянии. На этот счет сомнений нет. Приводят немало примеров мыслителей, которые во сне нашли решения задач, напрасно искомые ими наяву. Я мог бы ограничиться тем, что отослал бы читателя к сну г-на Спринга, рассказанному выше[7]. Но могу прибавить факт из собственного опыта.

[7] См. выше, во Введении.

В течение всего 1878 года я с жаром занимался планами дома, который хотел себе построить и о котором я уже говорил. Свои дни я проводил в том, что обдумывал его, чертил, вычислял; ночи — в том, что он мне снился. Притязания мои были немалые. Я хотел здание, свободное от недостатков, которые я замечал в других. Из всех задач, какие мне предстояло решить, одной из самых неподатливых была задача о некоей лестнице, которая должна была вести в подвальный этаж. Я нашел, правда, разные решения, но ни одно меня вполне не удовлетворяло. Однажды ночью во сне я не только заново проделал свои вычисления, как мне кажется, с величайшей точностью, но и придумал новое расположение, которое, кстати сказать, подсказало мне то, что я в конце концов и принял.

Этим особенности этого сна не исчерпываются. Я ясно сознавал, что вижу сон, и восхищался ясностью ума, которую умел проявить, видя сон. Более того. Я сделал такое размышление: хотя я сплю и, следовательно, не сознаю своих действий, я все же совершаю чудеса рассуждения и вычисления; и я вывел отсюда общее заключение, не лишенное глубины — если смею так говорить о самом себе, — что в конце концов инстинкт есть не что

иное, как равнодействующая рассуждений, которые не обманули, и что в этом причина его непогрешимости. На этом я проснулся[8].

[8] «Среди бесконечных сочетаний снов могут встретиться забавные, а случайно и удачные. Я мог бы почти похвалиться тем, что был остроумен во сне этой ночью (14 сент. 187…). Помню, что среди прочего я сказал вымышленному собеседнику, беседуя о политике: „Партиям следовало бы съедать собственный хвост, как это делают некоторые обезьяны“. И действительно, совсем недавно я читал у Бюффона об этой повадке, которую он приписывает маки-мангусту. Вот, впрочем, его собственные слова об этом животном: „Он забавлялся тем, что ел свой хвост, и таким образом уничтожил четыре или пять последних его позвонков“». (Г-н Тард, указ. собрание.)

Итак, я могу утверждать, что ни одна из наших способностей не покидает нас во сне, кроме той, которая позволяет нам выносить объективные суждения о действительном мире. Во сне можно сочинять стихи. Вольтеру однажды ночью приснилось, что он обращается к некоему г-ну Турону, который писал музыку на собственные стихи, со следующим четверостишием[9]:

Мой милый Турон, как пленяешь
Ты сладостью своих ладов!
Как нежен, плавен строй стихов:
Ты их, как песни, сочиняешь.

[9] «Философский словарь», статья «Сомнамбулы».

Написал ли бы он лучше, если бы не спал?

Занимательность сновидений связана гораздо больше с их причудами, чем с их разумными сторонами. Кому не случалось видеть себя во сне погруженным в любимое чтение — роман, поэзию, науку, философию — и чувствовать себя плененным красотами книги, которую держишь в руке? Есть ли в действительности какое-нибудь достоинство у страниц, которые, как ему кажется, он читает? Это возможно; мы только что это

видели. Романист, поэт, ученый, философ могут во сне упражнять свои особые способности.

Однако обычно бывает не так. Я давно уже начал собирать фразы, взятые из моих воображаемых чтений, и все они отличаются полным отсутствием смысла. Довольно будет одной-двух выписок. Я читал книгу по научной философии (опять привычка!) и дивился легкости, с которой автор разъяснял самые темные вопросы. Мое чтение прервало пробуждение — которое я даже счел весьма некстати, — и мне посчастливилось удержать в памяти последнюю фразу, вот она: «Человек, воспитанный женщиной и отделенный аберрациями, толкает факты, выделенные анализом третичной природы, на путь прогресса». Незачем упоминать о том обстоятельстве, что накануне я прочитал заметку Плато об иррадиации, которую Араго приписывал действию аберрации. Наше внимание должно быть направлено на общие черты фразы. Можно с полным правом удивиться тому, что ряд столь бессвязных слов являет строгое применение правил синтаксиса. Это замечание не ускользнуло и от г-на Виктора Эггера, который, как он мне пишет, тоже составил собрание подобных фраз. Каждый узнает здесь также избитые обороты: *человек, воспитанный женщиной*, *факты, выделенные анализом*, *путь прогресса*[10].

[10] Я читаю в собрании г-на Г. Тарда: «26 августа 187… Этой ночью я сочинял во сне стихи. Я был с товарищами в скверном трактире. За десертом мне приходит охота стихотворствовать, и на столе я пишу пером пьесу, от которой помню лишь заключительное двустишие:

Тромбон, револьвер, шаспо и кларнет —
Для честного человека забав лучше нет.

На этом пьеса и остановилась (без ущерба, как видно, для французского Парнаса)… Этот сон доказывает силу некоторых ассоциаций идей, которые

сохраняются во сне, тогда как другие, более старые, разорваны. Он показывает, что стихотворные формы могут сохраняться в уме, где стерлись все логические правила, примерно так же, как сами логические правила… переживают в некоторых душах, пораженных безумием, разум, здравый и прямой смысл. Эти два стиха ничего не значат, но они не фальшивы. Рифма хороша. Итак, видя сон, я сумел сохранить способность находить два слова, которые рифмуются между собой, оценивать, что они хорошо рифмуются, дополнять первые слова, представившиеся моему уму, другими словами, которые составляют вместе с ними нужное число слогов; и тем не менее я не знал смысла этих слов! Ибо, я это помню, тромбон и кларнет, шаспо и револьвер — все это я ставил в один ряд и видел здесь лишь музыкальные инструменты. Произошел, следовательно, тот необыкновенный факт, что слова вызывали друг друга, не напоминая мне своего смысла, который, однако, связан с ними с тех пор, как они во мне существуют. Впрочем, и в бодрствовании труднее добраться до смысла слова, чем перейти от одного слова к другому, или, иначе говоря, труднее быть мыслителем, чем ритором, и, если подумать, нет ничего обычнее вереницы непонятых слов».

Как объяснить эту правильность и эту причудливость? Я уже говорил, как органы, призванные выражать мысль, за недостатком твердого и точного управления сбиваются, неправильно произносят иные слоги, которые вызывают другие и доходят даже до того, что порождают новые образы. Что дремота порождает подобного рода неловкости, в этом нет ничего удивительного. Выше мы видели, как *каскад* занял место *фасада*. К этому же разряду относится часть галлюцинаций г-на Мори. Рассеянность, озабоченность, возраст, болезнь часто заставляют нас употреблять одно слово вместо другого. Тогда чувствуешь себя словно пораженным неспособностью найти нужные слова. Скажешь: *Уберите кирпичи!* вместо *Откиньте одеяло!* Вот что касается причудливости.

Что же до правильности, вот как я ее объясняю. Я думаю, что ум руководится правильными фразами, которые целиком или отчасти служат образцами, и что подмена касается по отдельности членов, из которых они состоят. Вот, среди сотни других, наблюдение, подкрепляющее этот взгляд. Засыпая, я

перебирал в голове куплеты, которые сочинил более двадцати лет назад и припев которых таков:

Иду я туда, где ждут меня мои печали.

Дойдя до конца третьего куплета, я был охвачен сном, и внезапно этот стих сменился таким:

Иду я туда, где ждут меня одни обломки.

Тут меня резко вырвали из дремоты, и я очень хорошо помню, что видел обрушившийся дом на одной брюссельской улице, на улице *Ночь и День*, где незадолго перед тем случилось подобное происшествие. Подмена здесь очевидна и выдает, скажу охотно, промахи языка.

Отсюда без труда понятно, что можно тем же способом сочинить куплет, отрывок поэмы по действительному образцу, который дает вам ритм, число слогов, размер и синтаксис. Время от времени эти повторяющиеся подмены, без сомнения, будут вести к ошибкам против языка и особенно против стихосложения, правила которого нам обычно менее знакомы; но эти ошибки не мешают мне думать, например, что именно великого поэта я переиначил в этих двух стихах, блистающих отсутствием смысла еще больше, чем отсутствием рифмы:

Да Бог, живым восстав из отчей гробницы,
С улыбкой обойдет сиятельных первосвященников!

И все же я не в силах описать восторг, в который приводила меня божественная поэма, заключавшая среди прочего это восхитительное двустишие.

Конечно, объяснение, которое я только что дал, не может подойти ко всем случаям. Но главное не столько в том, чтобы

разложить по отдельности все частные факты, сколько в том, чтобы показать, что все они могут быть сведены к своим составным частям.

Приложим же эти начала к моему сну о ящерицах, восстановим его в подробностях и присоединим к нему замечания, которые мне остается сделать.

Довольно трудно было бы определить, каким родам внушения я обязан тем, что мне снились ящерицы, а потом *asplenium*. Но, как я только что сказал, это не важно; главное — владеть общим началом. Это начало — ассоциация идей, слов, звуков, потребностей, движений, ощущений, положений тела. На этот счет уже древность собрала немало замечаний[11].

[11] Ср.: Лукреций, *De Natura rerum*, кн. IV, 1025 и след.

Итак, мне снились мои любимые ящерицы и мой двор. Вот первые данные моего сна. Но я увидел во сне ящериц *в* моем дворе потому, что опыт приучил меня вносить последовательность в свои идеи. Во сне происходит нечто совершенно подобное тому, что бывает в обыденной жизни. Если кто-нибудь говорит, а я отчетливо слышу лишь отдельные слова: «ящерицы», «двор»..., я восстанавливаю — иногда неверно — ускользающую от меня связь и заполняю пробелы: во дворе есть, во дворе были ящерицы.

Почему мне приснился снег? Быть может, в эту минуту мне было холодно. Но по той же причине я и поместил снег в свой двор. Вот основание того свойства, которое г-н Модсли признает за идеями, — «естественно сочетаться наподобие драм, хотя между ними нет известных ассоциаций или даже хотя они совершенно независимы, а то и противоположны друг другу[12]». Эта мысль принадлежит также Юму, который приписывает идеям

способность взаимно притягиваться и слипаться. Она есть уже у Лукреция, который сам заимствовал ее у Демокрита[13].

[12] См. выше, во Введении.

[13] *De Natura rerum*, кн. IV, 722 и след.

Что касается сочетания противоположных идей, я уже объяснился по этому поводу[14]. Наши сны, без сомнения, могут являть нам зрелище прямых превращений, о каких мы читаем в некоторых сочинениях, какие мы порой видим в природе и какие показывают нам марионетки или феерии[15]. Но не следует принимать за превращения все перемены места действия или действующих лиц. Так, в моем сне я вдруг увидел себя перенесенным из своего двора в поле, затем из поля в лес; это не значит, что я видел, как мой двор превращается в поле, как падают стены, как зелень сменяет снег, а широкий горизонт поглощает мой клочок неба; нет, произошло явление, которое г-н Мори очень метко сравнивает с *туманными картинами*[16]. Это как если бы на один и тот же экран, на одно и то же место, проецировали с помощью двух волшебных фонарей две картины и постепенно или резко освещали одну, гася в то же время другую. И по сути некоторые данные сновидения суть, таким образом, опоэтизированный, но верный перевод наших ощущений. Мне было холодно — и мне приснился снег. Быть может, я укрылся, мне стало теплее; снег растаял, и я решил, что нахожусь в открытом поле. Быть может, потом я снова ощутил некоторую прохладу, и тогда мне подумалось, что я укрываюсь в тени лесов.

[14] См. выше, во Введении.

[15] Со сценами превращений можно сопоставить сцены чудес. Ср. одно наблюдение г-на Мори, указ. соч., примечание II, с. 467.

[16] Указ. соч., с. 146.

Бессвязность сновидения, следовательно, не представляет ничего особенного. В бодрствовании наши мысли так же прихотливы. Нам кажется, что в бодрствовании в них больше последовательности, потому что фантазии нашего воображения сопровождаются здесь восприятиями, которые сами по себе связываются логически. Наяву я думаю о снеге, потом о поле, потом о лесе и чаще всего не могу сказать почему. Но мне кажется, что я внес связность в ряд этих образов, потому что знаю, где я был, когда думал о снеге, где я был, когда думал о поле, потом о лесе, и, кроме того, знаю, в какую сторону направлял свои шаги. Возможно также, что мой сон был копией подобной грезы наяву. В таком случае приключения сна — как и фразы и стихи — были бы скроены по образцу, доставленному бодрствующим состоянием.

К особенностям сновидения причисляли также отсутствие удивления, нравственности, стыдливости. В действительности это неверно. В своих снах я не раз удивляюсь. Девушки, которые во сне прогуливаются в одной сорочке по бульварам, ужасно смущаются, когда это замечают. Это сон, свойственный прекрасному полу: «Одна дама уверяла меня, что ей часто снилось вот что: она на балу и вдруг замечает, что на ней только сорочка или кофточка; она ищет, что бы надеть, и ничего не находит. Несколько других дам, при которых она мне рассказывала этот сон, тотчас признались, что видели похожие: одной снится, что она на вечере или на балу без ботинок и без чулок, другой — что она принимает гостей за столом и замечает, что почти раздета, и т. д.» Г-н Тард, у которого я заимствую эти строки, объясняет такого рода сон «неким смутным ощущением почти полной раздетости, в которой мы находимся в постели». Я не решаюсь принять это объяснение: почему же тогда мужчинам подобные сны снятся

редко? Они происходят, я думаю, оттого, что женщины всегда боятся, как бы их не застали в одной сорочке; по тысяче поводов их стыдливость настороже, и их сны осуществляют то, что наяву есть лишь опасение.

Если вам снится, что вас застают на месте более или менее тяжкого проступка, вам стыдно и перед собой, и перед другими. Г-н Мори испытал удивление и смущение в своем сне о козлобородке[17]. Что может быть верного в упомянутом утверждении, так это то, что часто поступки, одна мысль о которых нас возмущает, во сне, по-видимому, казались нам вполне естественными. В большинстве случаев, если не во всех, человек, я думаю, оказывается жертвой простой подмены образов. Любовнику, который думает, что сжимает в объятиях свою возлюбленную, представляется образ матери, сестры, и он совершает кровосмешение[18].

[17] Указ. соч., с. 110 и след.

[18]

Fit quoque ut interdum non suppeditetur imago
Ejusdem generis, sed femina quae fuit ante,
In manibus vir uti factus videatur adesse,
Aut alia ex alia facies aetasque sequatur.

(Лукреций, *De Natura rerum*, IV, 818 и след.)

Есть и другое сходное явление. Это то, которое заставляет во сне давать имя друга чужому лицу. Вам снится сослуживец; лицо этого сослуживца внезапно сменяется другим, но имя остается, и, проснувшись, вы говорите, что вам снился такой-то, но что герой вашего сна на него не походил[19].

[19] Собрание г-на Тарда полно занятных снов. Он нашел удачное слово для этого явления: он называет его *разыменованием* образов. Так, однажды ночью он увидел во сне «сидящих на ветвях кошек, настоящих кошек, которых, проснувшись, он признал кошками, *но которых во время сна считал птицами*». — В другом сне один из его родственников является ему в виде личинки насекомого, длинного червя, который извивался повсюду на его бумагах и очень ему мешал. «Мне хотелось его раздавить, но меня удерживала мысль, что это член моей семьи». — 23 апреля 187... он видит во сне *свой дом*, осененный причудливыми деревьями; глядя на него, он говорил себе, что это замок С., «который мне, однако, так хорошо знаком и на который мое жилище вовсе не похоже». — В этих заметках я читаю любопытный пример *альтруизации* (явление, которое надо сблизить с разыменованием), совершенно сходный с тем, о котором я рассказал выше, во Введении: «Снилось, что я у себя, в деревне, но не как хозяин дома, *а как гость*».

Подобное происшествие нередко и в бодрствовании: ваш ум занят одним человеком; вы обращаетесь к другому, который стоит перед вами, и называете его именем того, кто вас занимает. Г-н Мори, чтобы расплатиться с официантом в ресторане, вынимает из кошелька сперва девять франков, а потом пучок козлобородки, на котором стоит *клеймо монетного двора*[20]. Ясно, что здесь его ум соединил несовместимые образы, как мы видели выше, что ум связывает обрывки фраз. Если бы из уст оратора я услышал только следующие слова: «кошелек», «девять франков», «козлобородка», моя мысль тотчас установила бы известный порядок между идеями, которые они вызывают. Я, конечно, не подумал бы сказать, что в кошельке лежат девять франков козлобородкой; но ребенок мог бы это так понять, а спящий — в большей или меньшей мере ребенок.

[20] Указ. соч., гл. VI, с. 111.

Одно совсем недавнее наблюдение подтвердит этот взгляд. Однажды в июле прошлого года по Льежу разносится слух, что горит угольная шахта. К счастью, это была лишь ложная тревога.

В тот же день четверо студентов блестяще сдали мне подготовительный экзамен к юридическим занятиям. Кроме того, заседание ознаменовалось довольно волнующим происшествием. Ночью я снова вижу их во сне перед столом экзаменационной комиссии; потом, мгновение спустя, я нахожу их возле шахты в качестве инженеров. Но легко видеть, что не сон сам по себе наделил их этим званием. Это ум, как он сделал бы и в обычном своем состоянии, естественно предполагает, что молодые люди, присутствующие при катастрофе, вызванной взрывом рудничного газа, — студенты горной школы.

Может даже случиться, что человек приписывает себе чужое качество и таким образом воображает себя другим, — род заблуждения, который встречается и при душевной болезни. Однажды на улице ко мне подходит кто-то; его сопровождала молодая особа, у которой не хватало одного резца. Ночью мне приснилось, что я женщина (или по крайней мере в женском платье), щербатая, да еще с шатающимся маленьким коренным зубом.

Я читал не помню где — быть может, у г-на Вундта, — что то, что мы считаем одним сном, содержит, по всей вероятности, два, три сна или больше. Эта мысль кажется мне очень верной; нас заставляет верить в непрерывность сна постоянство одного и того же образа.

Сон, который дал повод к этому сочинению, состоит в действительности из четырех снов: снег, проказа моего друга В… В…, поле, лес. Связь, которую в нем находят, обязана единственно постоянству ящериц и *asplenium*. Мало того, вероятно, именно ящерицы, которые снились мне вначале, вызвали снова в моем уме гравюру из путешествия г-на Биара.

Иногда последовательность снов состоит в одном стойком чувстве. Предположим, что человек находится под действием плохого пищеварения или умственной усталости, — ему снятся одни неприятности, которые либо сцепляются, либо остаются без связи.

Подытожим в нескольких словах эти последние пункты. Бессвязность сновидения поражает нас потому, что при пробуждении и даже во время сна ум упорно ищет единства в том, в чем его нет, и соединяет в одно целое разнородные вещи. А что касается логики сна, тут надо различать. Некоторые его части связываются превосходно. Мои ящерицы, вышедшие из норы, застигнуты снегом, который их сковывает оцепенением; я их отогреваю и стараюсь загнать обратно в их жилище. Эта связь объясняется, без всякого сомнения, тем, что идеи ящерицы и холода пробудили ряд прежних опытов: ящерицы живут в норах; холод сковывает их оцепенением; тепло возвращает им движение.

Наконец, во сне есть натянутые сближения. Так как одни образы длятся или повторяются, тогда как другие меняются, ум по привычке воображает, что те и другие вышиты по одной канве и образуют целое, тогда как перед ним лишь более или менее беспорядочное собрание вырезок.

Один провинциал, ходивший смотреть «Андромаху» и «Сутяг», рассказывал, говорят, что начало пьесы было довольно грустное, а конец гораздо веселее. Из единства места он заключал о единстве действия.

Одна деревенская девушка поступила в услужение в город. Она ни разу не бывала в театре и не имела никакого понятия о том, что там может происходить. Ее снедало любопытство. В одно прекрасное воскресенье она попросила позволения утолить свое желание. В тот день представление состояло из комедии

«Барышни из Сен-Сира» и драмы о разбойниках «Рыцари тумана». Некоторые актеры играли в обеих пьесах. Она имела несчастье их узнать. Это внесло путаницу в ее мысли. На другой день она встала с сильной головной болью; и когда она попыталась рассказать о своих впечатлениях, оказалось, что во всей этой беготне взад и вперед она хорошо поняла лишь одно: что там были знатные господа и знатные дамы, которые под конец впали в нищету.

И в самом деле, логика, которую мы воображаем, соединяя прерывистые случаи, есть плод нашего прежнего опыта. Несведущий сближает самые несовместимые вещи, а спящий — несведущий. Как и в бодрствовании, мы и во сне воображаем причинную связь между фактами, которые следуют друг за другом; но — это вполне естественно — нам редко случается угадать верно.

Довольно о логике во сне; перейдем к явлениям воспоминания. Пока не подумаешь хорошенько, кажется, что образы, которые являются нашему уму во время сна, всегда должны производить впечатление присутствующих, поскольку действительный мир не может противопоставить представлениям контраста восприятий. Ничего подобного. Во сне спящий есть средоточие мира, который он считает действительным; следовательно, может установиться контраст между этим мнимо действительным миром и миром вдвойне воображаемым. Словом, может быть раздвоение, или, лучше сказать, растроение мира, как бывает иногда раздвоение или растроение «я»[21].

[21] См. выше, во Введении.

Можно различить несколько случаев воспоминания во сне.

Первый случай — тот, когда во сне вспоминают часть этого же сна. Мой друг В… В…, который так некстати прерывает мои благотворительные занятия, не отвлекает моих мыслей от ящериц, и я возвращаюсь к ним. Недавно мне снилось, что я иду покупать билеты в театр. Так как до поднятия занавеса у меня оставалось время, я прошелся по скверу; со мной случилась тысяча необыкновенных приключений; но в назначенный час я входил в театр.

Второй случай состоит в том, что вспоминают какое-нибудь событие бодрствующего состояния. Мой сон дает тому личный пример. Я вспоминаю в нем, что читал место у Брийя-Саварена о запахах. Вот другой пример, который я заимствую из тетради г-на Тарда: «Вчера после полудня я получил письмо, которое распечатал при матери. „Удивляюсь, — заметила она, — что оно не от наследников Л.“ Она намекала на занятие, которое доставляет мне надзор за интересами этого наследства в качестве душеприказчика. Этой ночью (8 сентября 187…) мне приснилось, что я получаю письмо от наследников Л. и, получая его, говорю себе: „Вот так так! Это оправдывает удивление моей матери“».

Мне хотелось бы, однако, предложить читателю воспоминание в образе, а не только в представлении. Напрасно поискав воспоминание этого рода в своих снах, я обратился к друзьям, и они сообщили мне множество неопровержимых фактов. Приведу лишь один; он характерен. Я знаю его от своего друга и бывшего сослуживца, знаменитого хирурга Гуссенбауэра, ныне профессора Пражского университета.

Однажды он проехал в экипаже по дороге, которая соединяет два селения, чьи названия я забыл. В одном месте эта дорога идет крутым спуском и делает опасный поворот. Так как кучер слишком сильно хлестнул лошадей, они понесли, и экипаж с

путниками сто раз едва не скатился в пропасть или не разбился о скалы, которые поднимались по другую сторону дороги. Недавно г-ну Гуссенбауэру приснилось, что он снова проделывает тот же путь, и, доехав до этого места, он вспомнил во всех мельчайших подробностях происшествие, жертвой которого едва не стал. Вот вопрос и решен.

Наконец — третий случай — это сохранение способности вспоминать во сне объясняет нам, как могут сниться прежние сны, которые мы видели, и, следовательно, как может сниться, что видишь сон. Запах *asplenium* приводит меня, если читатель помнит, к заключительному размышлению, что, что бы ни говорил Брийя-Саварен, запахи могут сниться. В моем сне о лестнице[22] подделка самосознания, так сказать, совершенна. Вот другой сон, почти столь же ярко выраженный. Мне снилось, что я обедаю у людей, с которыми мы больше не видимся. Я был этим очень раздосадован, потому что тем самым был обязан снова с ними видеться. По дороге домой я встречаю жену: «Ни за что не угадаешь, — говорю я ей, — где я сейчас обедал и где меня превосходно приняли. У Х. Х.! — Вот досада, — сказала она. — Успокойся, — говорю я ей, — это только сон, и, значит, мы не взяли на себя никаких обязательств[23]».

[22] См. выше.

[23] Я читаю у г-на Тарда сон, который кончается подобным же размышлением: «Я завтракал со своим другом Х. С. Жаркое состояло из нескольких кусков человеческого тела, среди прочего из обломка черепа, которому приставшее к нему мясо придавало вид остова птицы. Мне пришло в голову, что это череп моего друга Х. С. я ем. „Но, — сказал я себе в успокоение, — это не может быть его череп, раз он сам меня угощает“». — «Так, мне кажется, — прибавляет г-н Тард, — и выдающиеся философы, почти отождествив движение и ощущение или возможное и действительное, колеблются и порой отступают перед этой бездной, которую надо перешагнуть».

На первый взгляд, видеть во сне, что видишь сон, — особенность противоречивая, и на ней стоит на минуту остановиться.

В бодрствовании мы редко выносим явное суждение об объективной или субъективной природе образов, которые видим. Нами руководит вера, основанная на опыте; и само собой разумеется, что во сне эта привычка веры сохраняется. Однако в бодрствующем состоянии нам много раз случается противопоставлять сон действительности, субъективное объективному. Приобретенная таким образом привычка может вступить в действие, пока мы видим сон, и тогда она приводит к тому, что мы говорим то, что все, что проходит у нас в голове, — сон, то, что это не сон. Странность случая сводится, следовательно, к простому совпадению. У тех, кто, как я, занимается своими снами, это возвращение к самому себе во сне может достигать замечательной частоты и уместности. Это лишь служит блестящим подтверждением мнения, которое я защищал и по которому способности во время сна не претерпевают никакого изменения в своей сущности.

Глава II. Сновидение как предмет воспоминания

При каких условиях вспоминают свои сны. — Сновидение — новый источник связей. — Бывает ли сон без сновидений? Забвение не доказывает, что следы стерлись.

Это мой сон напомнил мне название *asplenium*. Он произвел во мне то действие, какое произвело бы второе прямое или косвенное представление тех же слогов. Но это накопляющее действие могло совершиться лишь потому, что сон стал предметом акта воспроизведения. Если бы он прошел незамеченным, если бы я не уловил его снова при пробуждении,

asplenium снова погрузился бы в забвение, из которого я на миг его извлек. Мне остается, следовательно, рассмотреть еще один вопрос: при каком условии вспоминают свои сны?

Есть сны, которых не помнят; знают только, что что-то снилось. В другой раз думают, что вовсе ничего не снилось. Дети редко сохраняют воспоминание о своих снах. От чего может зависеть такое неравенство в способности памяти?

Согласно изложенной выше теории воспоминания, сон может стать предметом акта воспроизведения лишь в том случае, если элементы, которые он привел в действие, снова окажутся деятельными в той новой периферии, в которую облечется чувствительность в минуту пробуждения. Пример сделает это очевидным.

Однажды утром, когда я умывался, я почувствовал легкое щекотание в ухе и в то же мгновение вспомнил, что в ту самую ночь мне снилось, будто я ощущаю в нем куда более сильный зуд, принялся чистить его пером и извлекаю оттуда невероятное количество ушной серы. Этот сон представлялся моей памяти совершенно обособленным. Я не помнил ни того, что ему предшествовало, ни того, что за ним последовало. Он может навести нас на ответ на поставленный вопрос.

Без всякого сомнения, этот сон был порождением некоторого возбуждения моего уха, а это возбуждение пробудило воспоминание. Один из моих близких друзей, учитель атенея, одно время думал, что замечает, будто глохнет, и был этим сильно озабочен. Он поделился со мной своими опасениями. Я спросил его, вполне ли он уверен, что не дал засориться слуховому проходу. Мысль, что подобное возможно, никогда не приходила ему в голову. Я очинил ему гусиное перо, которым он и принялся

прочищать проход. Я угадал верно. Мой друг избавился от своих опасений.

Каждый легко видит причину моего сна. Но могло случиться, что щекотание не дало бы о себе знать при моем пробуждении, и в таком случае мой сон, без сомнения, прошел бы незамеченным. Именно это раздражение снова представило его моему уму, потому что оно было общим для периферии во время пробуждения и для периферии, деятельной во время сна.

Один из моих сослуживцев, вставая, замечает на полу опрокинутую лампу. Этот вид вдруг заставляет его вспомнить сон, который он видел в ту самую ночь и исходной точкой которого было падение какого-то тела. Вероятно, не увидь он лампы, этот сон к нему не вернулся бы. Следовательно, для того чтобы сон снова представился памяти, нужно, чтобы чувственное состояние, которое его вызвало, сохранилось или возобновилось целиком или отчасти во время бодрствования.

Отсюда следует, что чаще всего вспоминают те сны, которые видят в минуту пробуждения, потому что они больше переплетаются с впечатлениями, которые сохранятся в течение дня. Сновидение, таким образом, есть новый источник связей. Вот почему сну выпало преимущество закрепить в моей памяти название *asplenium*. Те же, напротив, которые видят во время глубокого сна, почти не имеют случая ожить, потому что особое возбуждение, которое их вызвало, почти не имеет, так сказать, возможности повториться. Именно случай и самый род возбуждения вывели у меня на свет сон, который я только что рассказал.

Тем же способом объясняется, почему иногда помнят лишь характер сна — веселый, страшный, любовный. Дело в том, что

при пробуждении еще длится что-то от веселья, от страха, от любовного настроения.

Наконец, причину одного довольно обычного происшествия тоже надо искать в причинах того же порядка. Видишь сон, который считаешь замечательным; просыпаешься, перебираешь его в памяти, твердо обещая себе его запомнить. Снова засыпаешь, и наутро чаще всего забываешь все его подробности; помнишь только, что видел сон и что перебирал его, чтобы найти его при пробуждении. В подобном случае, чтобы закрепить сон в своем уме, вам надо принять предосторожность и связать его с каким-нибудь мышечным движением — например, написать его пальцем на ладони или сдвинуть какой-нибудь предмет и положить его не на обычное место.

Эти факты и другие подобные подкрепляют утверждение, чисто теоретическое, согласно которому не бывает сна без сновидений. Нужно только хорошо условиться. Если называть сновидениями лишь образные представления, то это утверждение следует отвергнуть во имя развитой выше теории привходящего чувства. Если же, напротив, допустить, что спящему может, например, сниться тепло, без того чтобы он в то же время думал о раскаленных углях, о вулканах, о печах, о каком-либо другом предмете определенной формы, к которому он относил бы причину своего ощущения, то высказанное выше мнение кажется мне законным. Впрочем, можно ли ясно представить себе существование чувствующего существа, которое было бы совершенно изъято из-под внешних влияний и все привычки которого спали бы? Не было бы такое состояние смертью? Наконец, раз жизнь и чувствительность сохраняются, можно ли отказать им в известной силе противодействия?

Полное забвение при пробуждении ничего не доказывает в пользу отсутствия сновидения. Это лишь признак слабости связей, которые соединяют два периферических состояния — сна и бодрствования. Сомнамбулы, истерики, люди в экстазе тоже, как правило, не сохраняют в своем нормальном состоянии никакого следа поступков или речей своего ненормального состояния. Доказывает ли это, что эти поступки не были совершены, что эти речи не были произнесены? Можно ли вывести отсюда иное заключение, кроме следующего: возвращаясь в нормальное состояние, они облекаются — да простят мне фамильярность выражения — в другую кожу, у которой лишь редкие лоскуты общие с прежней? Впрочем, есть и прямые доказательства сохранения этих следов. Большинство таких больных в каждом припадке помнят, что они делали или говорили во время предыдущих припадков. Сходные явления представляет опьянение. Я читал где-то историю слуги, который в пьяном виде отнес сверток не по адресу и которому пришлось напиться, чтобы снова найти путь, каким он пошел по ошибке.

Забвение, следовательно, не доказывает, что следы стерлись. Но есть и больше. Известны примеры таких больных, которые в своей нормальной жизни сохраняют некоторое воспоминание о том, что происходит в них во время их ненормальной жизни. Г-н Шпитта[24] говорит об одном сомнамбуле, который в обычном своем состоянии сохранял сознание того, что делал в своем необычном состоянии. Мне самому довелось внимательно наблюдать очень умную девушку, у которой в течение двух лет проявлялись вполне определенные явления истерии: повышенная чувствительность, экстазы, каталепсия и т. д. Вот уже несколько лет, как она совершенно выздоровела. Недавно я ее расспросил и могу ручаться за полную искренность ее ответов.

Она довольно хорошо помнит часть странных мыслей или движений, которым предавалась. По ее словам, она находила в этом известное удовольствие: ее толкала неведомая сила; но даже во время этих припадков она чувствовала, что могла бы ей противиться; недоставало ей одной только воли[25]. Она верно описала мне некоторые сцены, свидетелем которых я был, и некоторые роли, которые она выдерживала целыми днями и неделями. Так, она делала вид, будто не нуждается в пище, и призналась мне, что ела украдкой.

[24] *Die Schlaf- und Traumzustände*, с. 267.

[25] Характерное признание. Я всегда думал, что расстройство воли играет большую роль в поведении истеричных больных.

Что наряду с этими пунктами есть другие, о которых она не сохранила никакого воспоминания; что большинство истериков и сомнамбул не могут в своей нормальной жизни вспомнить решительно ничего о своей жизни ненормальной; что некоторые больные, выздоровев, ничего не помнят о том, что происходило в них во время болезни, — этому я нисколько не возражаю. Но все эти факты доказывают лишь, что поводы вспомнить у них редки или их невозможно найти. Разве не искал я шестнадцать лет разгадку своего *asplenium*? И если бы я не вспомнил своего сна, догадывался ли бы я хотя бы, что это название неизгладимо запечатлено в моей памяти?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

✦

Физическая сторона аксиомы: в природе ничто не пропадает. — То, что сделано, никак не может быть сделано несделанным. — То, что есть, — это непреложное прошлое. — Психическая сторона аксиомы: природа ничего не забывает. — Закон развития существ путем накопления опыта прошлого с помощью памяти; сны рассказывают нам это прошлое отрывками.

Вот я и вернулся долгим обходным путем к своей исходной точке и едва смею надеяться, что читатель последовал за мной по извилинам моих рассуждений.

В природе ничто не пропадает — ни атом материи, ни мгновение силы. Это начало, которым руководятся ныне все научные исследования, мы и расширили, и ограничили одновременно. Природа не дает ничему пропасть. Она так же бережно собирает искру, которая падает вместе с пеплом сигары, как и потоки света, которыми бесчисленные солнца заливают поля пространства. Ничем она не пренебрегает; все она собирает, чтобы оно послужило неведомым целям. Но тогда, если ничто не пропадает, работа, из которой вышло все сделанное, целиком перешла в свое произведение. Никакая власть не может добиться того, чтобы сделанное не было сделано. Следствие, стало быть, не может воспроизвести причину без прибыли и без потери. Следовательно, всякий раз, когда в мире совершается изменение, всякий раз, когда превратимое становится превращенным, неизбежно возникает и нечто непревратимое. Вещи не вращаются по кругу; у них есть начало и есть конец, начальное состояние и

конечное состояние. Утверждать противное — значит говорить, что все возможности словно вечно трясутся в решете бессознательной силой, что те из них, которые проходят сквозь ячейки, на миг облекаются в бытие, а затем, исчезая, снова становятся возможностями и снова попадают в решето Случая и Судьбы. По сути, подобное учение есть возрождение того древнего пантеизма индийских философий, для которых вселенная — океан, без конца и без отдыха вздымающий свои увенчанные пеной волны, где непрестанно образуются и несколько мгновений плавают бесчисленные множества недолговечных пузырей.

Нет! Так как всякое изменение имеет исходной точкой недостаток равновесия, а целью и точкой прибытия — равновесие, так как, с другой стороны, из равновесия может выйти лишь равновесие, точно так же, как покой и однородное могут породить лишь покой и однородное, — общая равнодействующая всех превращений сил имеет единственное направление; вещи спускаются по неотвратимому склону, по которому они не поднимутся обратно. Выражение этой равнодействующей — время; не время, каким его мыслит механика, не отвлеченное время, все частицы которого одинаковы, время, всегда и везде присутствующее, у которого нет ни прошлого, ни будущего, — а время действительное, которое находится вне мысли и от нее не зависит, которое всегда направляет свои шаги в одну и ту же сторону, которое невозможно представить себе ни более медленным, ни более быстрым, чем оно есть, и в котором каждое мгновение есть сгущение всех предшествовавших ему мгновений. Прошедшее время не возвращается — в этом изречении заключена вся философия наук.

Известен этот припев, исполненный высшей грусти: «Где прошлогодний снег?» Для обычного взгляда прошедшее время и в самом деле — то, чего больше нет. Заблуждение! Напротив, это действительность в самом конкретном ее виде, это непреложное. Прошедшее время — это то, что есть; остальное еще не есть, потому что осуществление будущего отчасти подчинено действию свободы. Настоящее чревато не будущим, оно чревато прошлым; оно есть сумма и, так сказать, окаменение всего прошлого. Время — это бесконечная нить, сходящая с прялки пряхи, которая не родилась и не умрет. Прялка обвита будущим, а настоящее тотчас подбирает нить и плотно сматывает ее в клубок по мере того, как она образуется… и клубок становится все объемистее, а кудели на прялке все меньше. Вот как в природе ничто не пропадает. Все собрало настоящее. Таково в своей физической стороне значение этой сложной и знаменитой аксиомы.

В своей психической стороне она выражается великим законом развития существ. Их нынешние способности суть итог накопления всего опыта прошлого. Деятель этого накопления — память, или свойство организованной материи закреплять силу и усваивать ее вплоть до мельчайших своих частиц, что и делает возможной ее передачу путем деления и совокупления.

Без памяти нет ни развития, ни опыта, ни прогресса, ни науки. Природа не только не дает ничему пропасть — она ничего не забывает. Она отмечает малейшие мысли, рождающиеся в самом скромном уме, так же как обширнейшие построения гения; и именно на чувствующих веществах она день за днем, час за часом записывает свои подробные летописи.

Не преувеличение ли это? Быть может, так и скажут. Мне уступят, что, если смотреть на вещи в целом, виды способны к совершенствованию, что мир идет вперед; согласятся, что Ньютон

знал больше Архимеда, и притом благодаря самому Архимеду. Но, скажут, отсюда до признания того, что все сохраняется, накапливается и в конце концов однажды обнаруживается в той или иной форме, — целая пропасть! — Так, значит, природа делала бы выбор? Были бы вещи, которые она сочла бы достойными, а другие — недостойными сохранения? Но какие правила руководили бы ее выбором? Разве падение яблока не объяснило нам небеса? Разве притягательные свойства янтаря не превратили поверхность земного шара в своего рода переговорную? Кто дал нам Ньютона? Безвестные родители и старая бабушка, которая согласилась растить его в детстве. И все же кому, если не им, обязан он своим гением? И куда девался этот гений, если не в нас, — и не в переносном смысле, а в действительности? Где гении изобретателей письма и книгопечатания, этих двух могучих помощников памяти, если не в тех тысячах мастерских, которые без устали так много делают для того, чтобы мысль и истина проникали в самые далекие страны и в самые непокорные умы? И что станется с семенами, которые они повсюду сеют?

«Предположения рискованные и несбыточные! — воскликнут иные умы. — Нам ныне нужны факты, мы хотим фактов!» — Что ж, пусть так! Вам нужны факты — сновидение вам их доставит. Сновидение — и это мой последний вывод и вместе с тем оправдание заглавия этого исследования, — сновидение есть потайное отверстие, сквозь которое мы можем время от времени бросить взгляд на неизмеримые сокровища, которые природа копит неутомимой рукой и среди которых, к великому нашему удивлению, мы находим порой лоскут незначительной и мимолетной мысли, которую она, она-то, не сочла недостойной места в своих собраниях.

«Прошлое — это сон», — говорила Пенелопа. Ах! Насколько вернее сказать, что сны — это прошлое. Они не что иное, как прошлое. Они не открывают нам будущего; но, пользуясь нашим минутным равнодушием к настоящему, они рассказывают нам прошлое на отрывочных страницах, весьма бессвязных и на вид не поддающихся прочтению. Но кто знает? Земля тоже бережно сохранила здесь челюсть, позвонок, там — отпечаток пера или чешуи, а там — сказать ли? — отпечаток помета; и палеонтология по этим бесформенным остаткам заново воссоздает историю нашей планеты. Того немногого, что позволяет нам увидеть сновидение, довольно, чтобы утверждать, что в мире мысли ничто не забывается; все записано, разложено по разрядам, снабжено ярлыками. С какой целью? Угадать это нелегко. Однако *asplenium*, который однажды ночью благодаря сновидению я случайно увидел снова, стал причиной того, что я написал эту книгу, в которой сотни читателей найдут повод для новых размышлений, и того, что все их усилия, соединенные с усилиями их потомков, быть может, прольют некоторый свет на ту или иную из темных тайн, заключенных в душе человека.